



Андрей Платонов

Чевенгур

ФТМ



Андрей Платонов

Чевенгур

«ФТМ»

1929

Платонов А. П.

Чевенгур / А. П. Платонов — «ФТМ», 1929

Андрей Платонов (1899-1951) по праву считается одним из лучших писателей XX века. Однако признание пришло к нему лишь после смерти. Роман «Чевенгур» был написан в 1926-1929 годах, но при жизни автора так и не увидел свет. Это не просто самый большой по объему платоновский роман, но и своеобразная веха в творчестве художника. В нем писатель подверг критическому пересмотру, порою доводя до абсурда, «ультрареволюционные» идеи, которые находили выражение в его ранних произведениях. Чевенгур – так называется город, где группа коммунистов, вознамерившись совершить мгновенный «прыжок» в коммунизм, организует конец света – «второе пришествие» для местной буржуазии. В результате массового расстрела убиты все жители города. С этого момента, по мнению коммунистов, настает «конец истории» – прежнее остановилось, и наступило блаженное бытие в мире без эксплуатации, в котором единственным работником является солнце. Стремясь населить город новыми людьми, чевенгурцы собирают по степи «пролетариев» – нищих странников. Однако Чевенгурская коммуна гибнет. Человеческое бытие – в кровавом хаосе революции и гражданской войны... Судьба страны – в осколке судьбы одного человека... Крестный путь нации как жизненный путь невинной жертвы «переломной эпохи». «Чевенгур». Страшная и прекрасная книга!..

© Платонов А. П., 1929

© ФТМ, 1929

Андрей Платонов

Чевенгур

Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы. Появляется человек – с тем зорким и до грусти изможденным лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Любое изделие, от сковородки до будильника, не миновало на своем веку рук этого человека. Не отказывался он также подкидывать подметки, лить волчью дробь и штамповать поддельные медали для продажи на сельских старинных ярмарках. Себе же он никогда ничего не сделал – ни семьи, ни жилища. Летом жил он просто в природе, помещая инструмент в мешке, а мешком пользовался как подушкой – более для сохранности инструмента, чем для мягкости. От раннего солнца он спасался тем, что клал себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он существовал на остатки летнего заработка, уплачивая церковному сторожу за квартиру тем, что звонил ночью часы. Его ничто особо не интересовало – ни люди, ни природа, – кроме всяких изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволоки, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее – исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ, – например, давали ему на кадку новые обручи подогнуть, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода – от вращения земли.

Церковному сторожу не нравились такие бесплатные занятия.

– На старости лет ты побираться будешь, Захар Палыч! Кадка вон который день стоит, а ты о землю деревяшкой касаешься – неведомо для чего.

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него что лесной шум для жителя леса – его не слышишь. Сторож курил и спокойно глядел дальше – в бога он от частых богослужений не верил, но знал наверное, что ничего у Захара Павловича не выйдет: люди давно на свете живут и уже все выдумали. А Захар Павлович считал наоборот: люди выдумали далеко не все, раз природное вещество живет нетронутое руками.

Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса – бывал неурожай. Издавна известно, что на лесных полянах даже в сухие годы хорошо вызревают травы, овощ и хлеб. Оставшаяся на месте половина деревни бросалась на эти поляны, чтобы уберечь свою зелень от моментального расхищения потоками жадных странников. Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак – один отряд пошел побираться к Киеву, другой – на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и кору и одичали. Ушли почти одни взрослые – дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.

Была одна старуха – Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала:

– Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!

Игнатьевна стояла тут же:

– Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

– Возьми себе мою старую юбку, Игнатьевна, – нечего больше дать. Спасибо тебе.

Игнатьевна простирала юбку на свет и говорила:

– Да ты поплачь, Митревна, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношенная-переношенная, прибавь хоть платочек ай утюжок подари...

Захар Павлович остался в деревне один – ему понравилось безлюдье. Но жил он больше в лесу, в землянке с одним бобылем, питаясь наваром трав, пользу которых заранее изучил бобыль.

Все время Захар Павлович работал, чтобы забывать голод, и приучился из дерева делать все то же, что раньше делал из металла. Бобыль же всю жизнь ничего не делал – теперь тем более; до пятидесяти лет он только смотрел кругом – как и что – и ожидал, что выйдет, в конце концов, из общего беспокойства, чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира; он совсем не был одержим жизнью – и рука его так и не поднялась ни на женский брак и ни на какое общепольное деяние. Родившись, он удивился и так прожил до старости с голубыми глазами на млажавом лице. Когда Захар Павлович делал дубовую сковородку, бобыль поражаля, что на ней все равно ничего нельзя изжарить. Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковорода не горела. Бобыль замирал от удивления:

– Могучее дело. Куда ж тут, братцы, до всего дознаться...

И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не объяснил бобылю простоты событий – или он сам был вконец бестолковый. Действительно, когда Захар Павлович попробовал ему рассказать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, бобыль еще более удивился и ничего не понимал, хотя чувствовал происхождение ветра точно.

– Да неужто? Скажи пожалуйста! Стало быть, от солнечного припеку? Милое дело!..

Захар Павлович объяснил, что припек – дело не милое, а просто жара.

– Жара?! – удивился бобыль. – Ишь ты, ведьма какая!

У бобыля только передвигалось удивление с одной вещи на другую, но в сознание ничего не превращалось. Вместо ума он жил чувством доверчивого уважения.

За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие знал. Землянка и ее усадебное прилежащее место было уставлено предметами технического искусства Захара Павловича – полный комплект сельскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий и житейских приспособлений – все целиком из дерева. Странно, что ни одной вещи, повторявшей природу, не было, например лошади, тыквы или еще чего.

В августе бобыль пошел в тень, лег животом вниз и сказал:

– Захар Павлович, я помираю, я вчера ящерицу съел... Тебе два грибка принес, а себе ящерицу сжарил. Помахай мне лопухом по верхам – я ветер люблю.

Захар Павлович помахал лопухом, принес воды и попоил умиравшего.

– Ведь не умрешь. Тебе только кажется.

– Умру, ей-богу, умру, Захар Палыч, – испугался солгать бобыль. – Нутре́ ничего не держит, во мне глист громадный живет, он мне всю кровь выпил...

Бобыль повернулся навзничь:

– Как ты думаешь, бояться мне аль нет?

– Не бойся, – положительно ответил Захар Павлович. – Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями...

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга. Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мертвым, задохнувшимся собственной зеленой рвотой. Рвота была плотная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней действовали белые мелкокалиберные черви.

Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь: второй дождь с апреля месяца. «Вот бы бобыль удивился», – подумал Захар Павлович. Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков и тихо опухал.

Сквозь сонный, безветренный дождь что-то глухо и грустно запело – так далеко, что там, где пело, наверно, не было дождя и был день. Захар Павлович сразу забыл бобыля, и дождь, и голод и встал. Это гудела далекая машина, живой работающий паровоз. Захар Павлович вышел наружу и постоял во влаге теплого дождя, напевающего про мирную жизнь, про обширность долгой земли. Темные деревья дремали раскорячившись, объятые лаской спокойного дождя; им было так хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.

Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз. Когда он ложился обратно спать, он подумал, что дождь и тот действует, а я сплю и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты; тот ни одного изделия за весь свой век не изготовил – все всматривался да приноравливался, всему удивлялся, в каждой простоте видел дивное дело и руки не мог ни на что поднять, чтобы чего-нибудь не испортить; только грибы рвал, и то находить их не умел; так и умер, ни в чем не повредив природы.

Утром было большое солнце, и лес пел всею гущей своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву. Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников – дождь уснул в почве, его заменило солнце; от солнца же поднялась суeta ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники и даже сам дождь, не отдохнув, снова встал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака.

Захар Павлович положил в мешок свои деревянные изделия – сколько их в нем уместилось – и пошел вдаль, по грибной бабьей тропинке. На бобыля он не посмотрел: мертвые невзрачны; хотя Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу, не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди – премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет – она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же – об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого: так, что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное, же, он хотел посмотреть – что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иваныч. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Иванович попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.

Сейчас Захар Павлович проходил мимо погоста и искал могилу рыбака в частоколе крестов. Над могилой рыбака не было креста: ни одно сердце он не огорчил своей смертью, ни одни уста его не поминали, потому что он умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума. Жены у рыбака не осталось – он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей. Захар Павлович приходил на похороны и вел мальчишку за руку – ласковый и разумный такой мальчик, не то в мать, не то в отца; где сейчас этот мальчик? – наверно, умер первым в эти голодные годы как круглый сирота. За гробом отца мальчик шел без горя и пристойно.

– Дядя Захар, это отец нарочно так улегся?

– Не нарочно, Саша, а сдуру – тебя теперь в убыток ввел. Не скоро ему рыбу ловить придется.

– А чего тетки плачут?

– Потому что они хоньжи!

Когда гроб поставили у могильной ямы, никто не хотел прощаться с покойным. Захар Павлович стал на колени и притронулся к щетинистой свежей щеке рыбака, обмытой на озерном дне. Потом Захар Павлович сказал мальчику:

– Попрощайся с отцом – он мертвый на веки веков. Погляди на него – будешь вспоминать.

Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку надели для гроба – отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо в честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешным; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым. И все люди у гроба тоже заплакали от жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что каждому придется умереть и так же быть оплаканным.

Захар Павлович, при всей своей скорби, помнил о дальнейшем.

– Будет тебе, Никифоровна, выть-то! – сказал он одной бабке, плакавшей навзрыд и с поспешным причитанием. – Не от горя воешь, а чтоб по тебе поплакали, когда сама помрешь. Ты возьми-ка мальчишку к себе – у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается.

Никифоровна сразу пришла в свой бабий разум и осохла свирепым лицом; она плакала без слез, одними морщинами:

– И то будто! Сказал тоже – фальшью какой-то пропитается! Это он сейчас такой, а дай возмужает – как почнет жрать да штаны трепать – не наготовишься!

Взяла мальчика другая баба, Мавра Фетисовна Дванова, у которой было семеро детей. Ребенок дал ей руку, женщина утерла ему лицо юбкой, высморкала его нос и повела сироту в свою хату.

Мальчик вспомнил про удочку, которую сделал ему отец, а он закинул ее в озеро и там позабыл. Теперь, должно быть, уже поймалась рыба и ее можно съесть, чтобы чужие люди не ругали за ихнюю еду.

– Тетя, у меня рыба поймалась в воде, – сказал Саша. – Дай я пойду достану ее и буду есть, чтоб тебе меня не кормить.

Мавра Фетисовна нечаянно сморщила лицо, высморкала нос в кончик головного платка и не пустила руку мальчика.

Захар Павлович задумался и хотел уйти в босяки, но остался на месте. Его сильно тронуло горе и сиротство – от какой-то неизвестной открывшейся в груди совести; он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами. Но его остановили очередные изделия: староста ему дал чинить стенные часы, а священник – настраивать рояль. Захар Павлович сроду никакой музыки не слышал – видел в уезде однажды граммофон, но его замучили мужики, и он не играл; граммофон стоял в трактире, у ящика были поломаны стенки, чтобы видеть обман и того, кто там поет, а в мембрану вдет штотопальная игла. За настройкой рояля он просидел месяц, пробуя заунывные звуки и рассматривая механизм, вырабатывающий такую нежность. Захар Павлович ударял по клавише – грустное пение поднималось и улетало; Захар Павлович смотрел вверх и ждал возвращения звука – слишком он хорош, чтобы бесследно растратиться. Священнику надоело ждать настройки, и он сказал: «Ты, дядюшка, напрасно тона не оглашай, ты старайся дело приурочить к концу и не вникай в смысл тебе непотребного». Захар Павлович обиделся до корней своего мастерства и сделал в механизме секрет, который устранить можно в одну секунду, но обнаружить без особого знания нельзя. После поп еженедельно вызывал Захара Павловича: «Иди, друг, иди – опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар Павлович не для попа сделал секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться музыкой: его растрогало противоположное – как устроено то изделие, которое волнует любое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет, способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда после десяти починок Захар Павлович понял тайну смешения звуков

и устройство дрожащей главной доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками.

Теперь Захар Павлович на ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней. Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село ради встречи неизвестных машин и предметов, что за тою чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угольями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.

На сельских улицах пахло гарью – это лежала зола на дороге, которую не разгребали куры, потому что их поели. Хаты стояли, полные бездетной тишины; одичалые, переросшие свою норму лопухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых протоптанных местах, где ранее никакая трава не держалась, и покачивались, как будущие деревья. Плетни от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель, а некоторые колья и хворостины принялись и обещали стать рощей, если люди не вернутся. Дворовые колодцы сохли, туда свободно, переползая через сруб, бегали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломенных крышах изб зеленела рожь, овес, просо и шумела лебеда: они принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые желто-зеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробы же снимались с подножия тучами и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.

Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу – он дал из себя отросток шелуги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень под корешком будущего куста. Под лаптем была, наверное, почва посырее, потому что сквозь него тщились пролезть множество бледных травинки. Из всех деревенских вещей Захар Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройств – колодцы. На трубе последней хаты сидела ласточка, которая от вида Захара Павловича влезла внутрь трубы и там, в тьме дымохода, обняла крыльями своих потомков.

Вправо осталась церковь, а за ней – чистое знаменитое поле, ровное, словно улегшийся ветер. Малый колокол – подголосок – начал звонить и отбил полдень: двенадцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы священников у стен церкви занесло бурьяном, и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож, отделившись, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в многолетнем счете времени, зато сторож от старости начал чувствовать время так же остро и точно, как горе и счастье; что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна – она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чувствовал какую-то тревогу или вождение, тогда он бил часы и опять затихал.

– Живой еще, дедушка? – сказал сторожу Захар Павлович. – Для кого ты сутки считаешь?

Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел исполнил зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни жена, а слова забылись, как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово, – судил себя сторож, – человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему – ни родитель, ни помощник!»

– Зря работаешь! – упрекнул Захар Павлович.

Сторож на эту глупость ответил:

– Как так – зря! На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно селилась. И теперь возвратится: долго без человека нельзя.

– А звон твой для чего?

Сторож знал Захара Павловича как человека, который давал волю своим рукам для всякой работы, но не знавшего цену времени.

– Вот тебе – звон для чего! Колоколом я время сокращаю и песни пою...

– Ну пой, – сказал Захар Павлович и вышел вон из села. На отшибе съежилась хатка без двора, видно, кто-то наспех женился, поругался с отцом и выселился. Хата тоже стояла пустой, и внутри нее было жутко. Одно только на прощанье порадовало Захара Павловича – из трубы этой хаты вырос наружу подсолнух, – он уже возмужал и склонился на восход солнца зреющей головой.

Дорога заросла сухими, обветшалыми от пыли травами. Когда Захар Павлович присаживался покурить, он видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: целый маленький жилой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием для ежедневных нужд мелких озабоченных тварей. Заглядевшись на муравьев, Захар Павлович держал их в голове еще версты четыре своего пути и наконец подумал: «Дать бы нам муравьиный или комариный разум – враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь – великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца-муравья».

Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многодетного вдовца-столяра, вышел наружу и задумался: чем бы ему заняться?

Пришел с работы столяр-хозяин и сел рядом с Захаром Павловичем.

– Сколько тебе за помещение платить? – спросил Захар Павлович.

Столяр не рассмеялся, а хотел это сделать – он как-то побрякал горлом: в голосе его слышна была безнадежность и то особое притерпевшееся отчаяние, которое бывает у кругом и навсегда огорченного человека.

– А ты чем занимаешься? Ничем? Ну, живи так, пока мои ребята тебе голову не оторвали...

Это он сказал верно: в первую же ночь сыновья столяра – ребята от десяти до двадцати лет – облили спящего Захара Павловича своей мочой, а дверь чулана приперли рогаком. Но трудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорщице, значит – главное в нем не моча, а ручная умелость.

Через неделю Захар Павлович так заскорбел от безделья, что начал без спроса чинить дом столяра. Он перешил худые швы на крыше, сделал заново крыльцо в сенях и вычистил сажу из дымоходов. В вечернее время Захар Павлович тесал колышки.

– Что ты делаешь? – спрашивал у него столяр, промокая усы хлебной коркой – он только что пообедал: ел картошку и огурцы.

– Может быть, на что годятся, – отвечал Захар Павлович.

Столяр жевал корку и думал.

– Годятся могилы огораживать! Мои ребята говели постом – все могилы на кладбище специально обгадили.

Тоска Захара Павловича была сильнее сознания бесполезности труда, и он продолжал тесать колья до полной ночной усталости. Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук приливалась к голове, и он начинал так глубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце поднимался тоскливый страх. Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же – это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет – одна пустая вонючая тьма. Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что они в точности похожи на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме столяра. Зверская работоспособная сила, не находя места, ела душу Захара Павловича, он не владел собой и мучился разнообразными чувствами, каких при работе у него никогда не появлялось. Он начал видеть сны: будто умирает его отец – шахтер, а мать поливает его молоком из своей груди, чтобы он ожил; но отец ей сердито говорит: «Дай хоть свободно помучиться, стерва», потом долго лежит и оттягивает смерть; мать стоит над ним и спрашивает: «Скоро ты?»; отец

с ожесточением мученика плюет, ложится вниз лицом и напоминает: «Хорони меня в старых штанах, эти Захарке отдашь!»

Единственное, что радовало Захара Павловича, это сидеть на крыше и смотреть вдаль, где в двух верстах от города проходили иногда бешеные железнодорожные поезда. От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара Павловича радостно зудело тело, а глаза взмокали легкими слезами от сочувствия паровозу.

Столяр смотрел-смотрел на своего квартиранта и начал его кормить бесплатно со своего стола. Сыновья столяра бросили в отдельную чашку Захара Павловича на первый раз соплей, но отец встал и с размаху, без всякого слова, выбил на скуле старшего сына бугор.

– Сам я человек как человек, – спокойно сказал столяр, сев на свое место, – но, понимаешь ты, такую сволочь нарожал, что, того и гляди, они меня кончат. Ты посмотри на Федьку! Сила – чертова: и где он себе ряшку налопал, сам не пойму – с малолетства на дешевых харчах сидят...

Начались первые дожди осени – без времени, без пользы: крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах, не дойдя до шахт и до южного хлеба. Захар Павлович пошел со столяром на вокзал наниматься: у столяра там был знакомый машинист.

Машиниста они нашли в дежурке, где отсыпались паровозные бригады. Машинист сказал, что народу много, а работы нет; остатки ближних деревень целиком живут на вокзале и делают что попало за низкий расценки. Столяр вышел и принес бутылку водки и круг колбасы. Выпив водки, машинист рассказал Захару Павловичу и столяру про паровозную машину и тормоз Вестингауза.

– Ты знаешь инерция какая на уклонах бывает при шестидесяти осях в составе? – возмущенный невежеством слушателей, говорил машинист и упруго показывал руками мощь инерции. – Ого! Откроешь тормозной кран – под тендером из-под колодок синее пламя бьет, вагоны в затылок прут, паровоз дует с закрытым паром – одним разбегом в трубу клокочет! Ух, едрит твою мать!.. Налей! Огурца зря не купил: колбаса желудок запаковывает...

Захар Павлович сидел и молчал: он заранее не верил, что поступит на паровозную работу, – куда ж тут ему справиться после деревянных сковородок!

От рассказов машиниста его интерес к механическим изделиям становился затаенней и грустней, как отказанная любовь.

– А ты что заквок? – заметил машинист скорбь Захара Павловича. – Приди завтра в депо, я с наставником поговорю, может, в обтирщики возьмут! Не робей, сукин сын, раз есть хочешь...

Машинист остановился, не кончив какого-то слова: у него началась отрыжка.

– Но, дьявол: колбаса твоя задним ходом прет! За гривенник пуд, нищелюб, купил, лучше б я обтирочными концами закусил... Но, – снова обратился машинист к Захару Павловичу, – но паровоз мне делай под зеркало, чтоб я в майских перчатках мог любую часть щупать! Паровоз никакой пылинки не любит: машина, брат, это – барышня... Женщина уж не годится – с лишним отверстием машина не пойдет...

Машинист понес в даль отвлеченных слов о каких-то женщинах. Захар Павлович слушал-слушал и ничего не понимал: он не знал, что женщин можно любить особо и издали; он знал, что такому человеку следует жениться. С интересом можно говорить о сотворении мира и о незнакомых изделиях, но говорить о женщине, как и говорить о мужчинах, – непонятно и скучно. Имел когда-то Захар Павлович жену, она его любила, – а он ее не обижал, – но он не видел от нее слишком большой радости. Многими свойствами наделен человек, если страстно думать над ними, то можно ржать от восторга даже собственного ежесекундного дыхания. Но что тогда получится? Затея и игра в свое тело, а не серьезное внешнее существование. Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров.

Через час машинист вспомнил о своем дежурстве. Захар Павлович и столяр проводили его до паровоза, который вышел из-под заправки. Машинист еще издали служебным басом крикнул своему помощнику:

- Как там пар?
- Семь атмосфер, – ответил без улыбки помощник, высовываясь из окна.
- Вода?
- Нормальный уровень.
- Топка?
- Сифоню.
- Отлично.

На другой день Захар Павлович пришел в депо. Машинист-наставник, сомневающийся в живых людях старичок, долго всматривался в него. Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. Если б его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди – живые и сами за себя постоят, а машина – нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать – вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!

Наставник изучал Захара Павловича и мучился: холуй, наверное, – где пальцем надо нажать, он, скотина, кувалдой саданет, где еле-еле следует стеклышко на манометре протереть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет, – разве ж допустимо к механизму пахаря допускать?! Боже мой, боже мой, молча, но сердечно сердился наставник, где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чертовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какие нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи – им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда что чуть стукнет лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоем в ведущем механизме – так я концом ногтя не сходя с места чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо ржи да прямо в паровоз хочет!

– Иди домой – рожу сначала умой, потом к паровозу подходи, – сказал наставник Захару Павловичу.

Умывшись, на вторые сутки Захар Павлович явился снова. Наставник лежал под паровозом и осторожно трогал рессоры, легонько постукивая по ним молоточком и прикладываясь ухом к позванивавшему железу.

- Мотя! – позвал наставник слесаря. – Подтяни здесь гаечку на полниточки!

Мотя тронул гайку разводным ключом на полповорота. Наставник вдруг так обиделся, что Захару Павловичу его жалко стало.

– Мотюшка! – с тихой угнетенной грустью сказал наставник, но поскрипывая зубами. – Что ты наделал, сволочь проклятая? Ведь я тебе что сказал: гайку!! Какую гайку? Основную! А ты контргайку мне свернул и с толку меня сбил! А ты контргайку мне осаживаешь! А ты опять-таки контргайку мне трогаешь! Ну, что мне с вами делать, звери вы проклятые? Иди прочь, скотина!

– Давайте я, господин механик, контргайку обратно на полповорота отдам, а основную на полнитки прижму! – попросил Захар Павлович.

Наставник отозвался растроганным мирным голосом, оценив сочувствие к своей правоте постороннего человека:

– А? Ты заметил, да? Он же, он же... лесоруб, а не слесарь! Он же гайку, гайку по имени не знает! А? Ну что ты будешь делать? Он тут с паровозом, как с бабой, обращается, как со шлюхой с какой! Господи боже мой!.. Ну, пойдй, пойдй сюда – поставь мне гаечку по-моему...

Захар Павлович подлез под паровоз и сделал все точно и как надо. Затем наставник до вечера занимался паровозами и ссорами с машинистами. Когда зажгли свет, Захар Павлович напомнил наставнику о себе. Тот снова остановился перед ним и думал свои мысли.

– Отец машины – рычаг, а мать – наклонная плоскость, – ласково проговорил наставник, вспоминая что-то задушевное, что давало ему покой по ночам. – Попробуй завтра топки чистить – приди вовремя. Но не знаю, не обещаю – попробуем, посмотрим... Это слишком сурьезное дело! Понимаешь: топка! Не что-нибудь, а – топка!.. Ну, иди, иди прочь!

Еще одну ночь проспал Захар Павлович в чулане у столяра, а на заре, за три часа до начала работы, пришел в депо. Лежали обкатанные рельсы, стояли товарные вагоны с надписями дальних стран: закаспийские, закавказские, Уссурийская железные дороги. Особые, странные люди ходили по путям: умные и сосредоточенные – стрелочники, машинисты, осмотрщики и прочие. Кругом были здания, машины, изделия и устройства.

Захару Павловичу представился новый искусный мир – такой давно любимый, будто всегда знакомый, – и он решил навеки удержаться в нем.

* * *

За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается. Созерцая ежедневно поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит! И жил спокойно в своей хате, кишасей мелкими людьми – его потомством. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро, а восьмым был приемыш – сын утонувшего по своему желанию рыбака. Когда жена за руку привела сироту, Прохор Абрамович ничего против не сказал:

– Ну, что ж: чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней... Покорми его, Мавруша! Сирота поел хлеба с молоком, потом отодвинулся и зажмурился от чужих людей.

Мавра Фетисовна поглядела на него и вздохнула:

– Новое сокрушение господь послал... Помрет недоростком, должно быть: глазами не живуч, только хлеб будет есть напрасно...

Но мальчик не умирал два года и даже ни разу не болел. Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась с сиротой.

– Ешь, ешь, родимый, – говорила она, – у нас не возьмешь, у других не схватишь...

Прохор Абрамович давно оробел от нужды и детей и ни на что не обращал глубокого внимания – болеют ли дети или рождаются новые, плохой ли урожай или терпимый, – и поэтому он всем казался добрым человеком. Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни – они мягкими маленькими руками заставляли его пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться. Он ходил, жил и трудился как сонный, не имея избыточной энергии для внутреннего счастья и ничего не зная вполне определенно. Богу Прохор Абрамович молился, но сердечного расположения к нему не чувствовал; страсти молодости, вроде любви к женщинам, желания хорошей пищи и прочее в нем не продолжались, потому что жена была некрасива, а пища однообразна и непитательна из года в год. Умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе; ему от этого становилось как-то прохладней и легче. Чем дальше жил Прохор Абрамович, тем все терпеливей и безотчетней относился ко всем деревенским событиям. Если б все дети Прохора Абрамовича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приемышей, а если бы и приемыши погибли, Прохор Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел босым

неизвестно куда – туда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, так же грустно, но хоть ногам отрадно.

Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное – не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это заметила вся деревня, и, если тетка Марья ходила порожняя, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит – летом голод будет».

В этот год Марья тоже ходила худой и свободной.

– Паруешь, Марь Матвевна? – с уважением спрашивали ее прохожие мужики.

– А то что ж! – говорила Марья и с непривычки стыдилась своего холостого положения.

– Ну ничего, – успокаивали ее. – Глядишь, опять скоро сына почнешь: ты на это ухватлива...

– А чего же зря-то жить! – смелела Марья. – Лишь бы хлеб был.

– Это-то хоть верно, – соглашались мужики. – Бабе родить не трудно, да хлеб за ней не поспевает... Да ты-то ведьма: ты свою пору знаешь...

Прохор Абрамович сказал жене, что она отяжелела безо времени.

– И-их, Проша, – ответила Мавра Фетисовна, – я рожу, я и с сумой для них пойду – не ты ведь!

Прохор Абрамович умолк на долгое время.

Настал декабрь, а снегу не было – озимые вымерзали. Мавра Фетисовна родила двоешек.

– Снеслась, – сказал у ее кровати Прохор Абрамович. – Ну и слава богу: что ж теперь делать-то! Должно, эти будут живучие – морщинки на лбу и ручки кулаками...

Приемыш стоял тут же и глядел на непонятное с искаженным постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество – ему захотелось убежать и спрятаться в овраг. Так же ему было одиноко, скучно и страшно, когда он увидел склепанных собак – он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда. У кровати роженицы пахло говядиной и сырым молочным телком, а сама Мавра Фетисовна ничего не чувала от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом – она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвевших страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела.

– Что, Саш, загляделся? – спросил Прохор Абрамович у ослабевшего приемыша. – Два братца тебе родилось. Отрежь себе хлеба ломоть и ступай бегать – нынче потеплело...

Саша ушел, не взяв хлеба. Мавра Фетисовна открыла белые жидкие глаза и позвала мужа:

– Проша! С сиротой – десять у нас, а ты двенадцатый...

Прохор Абрамович и сам знал счет:

– Пускай живут – на лишний рот лишний хлеб растет.

– Люди говорят, голод будет – не дай бог страсти такой: куда нам деваться с грудными да малолетними?

– Не будет голода, – для спокойствия решил Прохор Абрамович. – Озимые не удадутся, на яровых возьмем.

Озимые и взаправду не удались: они подмерзли еще с осени, а весной окончательно задохнулись под полевою наледью. Яровые то пугали, то радовали, но кое-как дозрели, подарив по десяти пудов с десятины. Старшему сыну Прохора Абрамовича было лет одиннадцать и приемышу почти столько же: кто-то один должен идти побираться, чтобы носить семье помощь хлебными сухарями. Прохор Абрамович молчал: своего послать жалко, а сироту стыдно.

– Что ж ты молчишь-то сидишь? – озлобилась Мавра Фетисовна. – Агапка семилетнего отправила, Мишка Дувакин девчонку снарядил, а ты все сидишь, идол беззаботный! Пшена-то до Рождества не хватит, а хлеба со Спаса не видим!..

Весь вечер Прохор Абрамович шил удобный и уемистый мешок из старого рядна. Раза два он подзывал Сашу и примеривал к его плечам:

– Ничего? Тут не тянет?

– Ничего, – отвечал Саша.

Одиннадцатилетний Прошка сидел рядом с отцом и вдевал суровую нитку в иглу, когда она выскакивала, так как сам отец видел неясно.

– Папаньк, завтра Сашку побираться прогонишь? – спросил Прошка.

– Чего ты болтаешь сидишь? – сердился отец. – Вот ты подрастешь, сам попобираешься.

– Я не пойду, – отказался Прошка, – я воровать буду. Помнишь, ты говорил, кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гришка мерина опять купил. А я вырасту, украду мерина.

На ночь Мавра Фетисовна накормила Сашу лучше своих кровных детей – дала ему отдельно, после всех, каши с маслом и молока, сколько попьет. Прохор Абрамович принес из риги жердь, и, когда все спали, он выделал из нее дорожный посошок. Саша не спал и слушал, как Прохор Абрамович строгаёт палку хлебным ножом. Прошка сопел и ежился от таракана, бродившего у него по шее. Саша снял таракана, но побоялся его убить и бросил с печки на пол.

– Ты, Саш, не спишь? – спросил Прохор Абрамович. – Спи себе, чего ж ты!

Дети просыпались рано, они начинали драться друг с другом в темноте, когда петухи еще дремали, а старики просыпались только по второму разу и чесали пролежни. Ни один запор еще не скрипел на деревне, и ничто не верещало в полях. В такой час Прохор Абрамович вывел приемыша за околицу. Мальчик шел сонный, доверчиво ухватив руку Прохора Абрамовича. Было сыро и прохладно; сторож в церкви звонил часы, и от грустного гула колокола мальчик заволновался. Прохор Абрамович наклонился к сироте:

– Саша, ты погляди туда. Вон, видишь, дорога из деревни на гору пошла – ты все так иди и иди по ней. Увидишь потом громадную деревню и каланчу на бугре – ты не пугайся, а ступай прямо, это тебе повстречается город. И там много хлеба на ссыпках. Как наберешь полную сумку – приходи домой отдыхать. Ну, прощай, сынок ты мой!

Саша держал руку Прохора Абрамовича и глядел в серую утреннюю скудость полевой осени.

– Там дожди были? – спросил Саша о далеком городе.

– Сильные! – подтвердил Прохор Абрамович.

Тогда мальчик оставил руку и, не взглянув на Прохора Абрамовича, тихо тронулся один – с сумкой и палкой, разглядывая дорогу на гору, чтобы не потерять своего направления. Мальчик скрылся за церковью и кладбищем, и его долго не было видно. Прохор Абрамович стоял на одном месте и ждал, когда мальчик покажется на той стороне лощины. Одинокие воробьи спозаранку копались на дороге и, видимо, зябли. «Тоже сироты, – думал про них Прохор Абрамович, – кто им кинет чего!»

Саша вошел на кладбище не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и тронул свою грудь: вот тут я, – а всюду было чужое и непохожее на него. Дом, в котором он жил, где любил Прохора Абрамовича, Мавру Фетисовну и Прошку, оказался не его домом, – его вывели оттуда утром на прохладную дорогу. В полудетской грустной душе, не разбавленной успокаивающей водой сознания, сжалась полная давящая обида, он чувствовал ее до горла.

Кладбище было укрыто умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступали мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без памяти о покойном. Сашу заинтересовали те кресты, которые были самые ветхие и тоже собирались упасть и

умереть в земле. Могилы без крестов были еще лучше – в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами: у них тоже умерли матери, а отцы у некоторых утонули в реках и озерах. Могильный бугор отца Саши почти растоптался – через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой.

– Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе – тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его.

Саша решил скоро прийти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.

Прохор Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша перешел через протоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же.

– Куда ж у него палка делась? – гадал Прохор Абрамович.

Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий подъем, припадая к нему руками. Сумка болталась широко и просторно, как чужая одежда.

– Ишь ты, сшил я ее как: не по нищему, а по жадности, – поздно упрекал себя Прохор Абрамович. – С хлебом он и не донесет ее... Да теперь все равно: пускай – как-нибудь...

На высоте перелома дороги на ту, невидимую, сторону поля мальчик остановился. В расвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота, даль, мертвая земля были влажными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было уцелеть и вернуться в низину села на кладбище – там отец, там тесно и все – маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра. Поэтому он пошел в город за хлебными корками.

Прохору Абрамовичу жалко стало сироту, который скрывался сейчас за спуск дороги: «Ослабнет мальчик от ветра, ляжет в межевую яму и скончается – белый свет не семейная изба».

Прохор Абрамович захотел догнать и вернуть сироту, чтобы умереть всем в куче и в покое, если придется умирать, – но дома были собственные дети, баба и последние остатки яровых хлебов.

– Все мы хамы и негодяи! – правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой правильности ему полегчало. В хате он молча скучал целые сутки, занявшись ненужным делом – резьбой по дереву. Он всегда при тяжелой беде отвлекался вырезыванием ельника или несуществующих лесов по дереву – дальше его искусство не развивалось, потому что нож был туп. Мавра Фетисовна плакала с перерывами об ушедшем приемыше. У нее умерло восемь человек детей – и по каждому она плакала у печки по трое суток с перерывами. Это было для нее то же, что резьба по дереву для Прохора Абрамовича. Прохор Абрамович уже вперед знал, сколько еще времени осталось Мавре Фетисовне плакать, а ему резать неровное дерево: полтора дня.

Прошка глядел-глядел и заревновал родителей:

– Чего плачете, Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал – тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.

– Мои милые! – в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна. – Он как большой балакает – сам гнида, а уж отцу попрек нашел!

Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не пришлось попробовать, потому что к вечеру Саша лег на печку и не мог согреться – всю его теплоту из него выдули дорожные ветры. В своем забытии он бормотал о палке в листьях и об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озеро в землянке, где растут и падают кресты.

Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком пошел в город – стоять на площадях и наниматься на работу.

Прошка два раза ходил следом за Сашей на кладбище. Он увидел, что сирота сам себе руками роет могилу и не может вырыть глубоко. Тогда он принес сироте отцовскую лопату и сказал, что лопатой рыть легче – все мужики ею роют.

– Тебя всё едино прогонят со двора, – сообщил про будущее Прошка. – Отец с осени ничего не сеял, а мамка летом снесется – теперь кабы троих не родила. Верно тебе говорю!

Саша брал лопату, но она была ему не под рост, и он скоро слабел от работы.

Прошка стоял, стыл от редких капель едкого позднего дождя и советовал:

– Широко не рой – гроб покупать не на что, так ляжешь. Скорей управляйся, а то мамка родит, а ты лишний рот будешь.

– Я землянку вырою и жить тут буду, – сказал Саша.

– Без наших харчей? – осведомился Прошка.

– Ну да – безо всего. Купырей летом нарву и буду себе есть.

– Тогда живи, – успокоился Прошка. – а к нам побираться не ходи: нечего подавать.

Прохор Абрамович заработал в городе пять пудов муки, приехал на чужой подводе и лег на печку. Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.

– Лежень, – сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двоешек. – Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас – корми теперь!

– Вот остаток от чертей-то! – поругался сверху Прохор Абрамович. – Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!

Прошка сидел с большой досужестью на лице, думая, как надо сделаться отцом. Он уже знал, что дети выходят из мамкиного живота – у нее весь живот в рубцах и морщинах, – но тогда откуда сироты? Прошка два раза видел по ночам, когда просыпался, что это сам отец наминает мамке живот, а потом живот пухнет и рожаются дети-нахлебники. Про это он тоже напомнил отцу:

– А ты не ложись на мать – лежи рядом и спи. Вон у бабки у Парашки ни одного малого нету – ей дед Федот не мял живота...

Прохор Абрамович слез с печки, обул валенки и поискал чего-то. В хате не было ничего лишнего, тогда Прохор Абрамович взял веник и хлестнул им по лицу Прошки. Прошка не закричал, а сразу лег на лавку вниз лицом. Прохор Абрамович молча начал пороть его, стараясь накопить в себе злобу.

– Не больно, не больно, все равно не больно! – говорил Прошка, не показывая лица.

После порки Прошка поднялся и сказал:

– Тогда прогони Сашку, чтобы лишнего рта не было.

Прохор Абрамович измучился больше Прошки и понуро сидел у люльки с замолкшими двоешками. Он выдрал Прошку за то, что Прошка был прав: Мавра Фетисовна снова затяжелела, озимых же сеять было нечем. Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом – ливни, в ветер – песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича – труднее, чем

самому родиться, и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не спешила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьем шли дети и, как ил лощину, погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот, – от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же свободные люди называли такое забвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.

– Прош, а Прош! – позвал Прохор Абрамович.

– Чего тебе? – угрюмо сказал Прошка. – Сам бьешь, а потом Прошей зовешь...

– Прош, сбегай к тетке Марье, погляди, у ней живот вспух аль худой. Чтой-то я давно не встречал ее, либо захворала она?!

Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит.

– Мне бы отцом-то быть, а тебе – Прошкой, – оскорбил отца Прошка. – Чего ей в живот глядеть: озимых не сеял – все одно голода жди.

Одев материну шушунку, Прошка продолжал хозяйственно бурчать:

– Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожди были. Вот она и промахнулась – ей бы рожать нахлебника, а она нет.

– Озимя вымерзли, она чуяла, – негромко сказал отец.

– Все детенки матерей сосут, хлеба ничуть не едят, – возразил Прошка. – А мать пускай яровыми кормится... Не пойду я к Марье... Будет у нее пузо, ты тогда с печки не слезешь. Скажешь – будут травы и яровые хороши. А нам голодать неохота: нарожал нас с мамкой!

Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали. Даже Прохор Абрамович, сам – против Прошки – похожий на сироту в своем доме, не знал, какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает – не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прошку, который каждую крошку считает и не любит никого за своим двором.

* * *

Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый человек – Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице – стало быть, перемены погоды не предвиделось.

В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом прочно успокоившееся пространство смертельной жары. Ребятишки наблюдали горизонты, чтобы вовремя заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые столбы пыли, и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы на ту сторону села, где жила его душевная забота – полудевушка Настя пятнадцати лет. Он любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у прямых людей, – поясницей, коренным сломом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени – он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался. Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми надежными руками, способными на неутомимые объятия будущей жены.

– Ничего, – довольствовался сам собою Кондаев. – Мужики тронутся, бабы останутся. Кто меня покусает, тот век не забудет – я ж сухой бык...

Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте – в такой слабости ее тела – живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл по пруду и набирал внутрь столько воды, словно в теле его была пещера, а потом выхлестывал воду обратно вместе со слюной любовной сладости.

Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советовал уходить на заработки.

– Город как крепость, – говорил Кондаев. – Там всего вполне достаточно, а у нас солнце стоит и будет стоять в упор – какой же тебе урожай! Ты опомнись!

– А ты как же, Петр Федорович? – спрашивал мужик про чужую судьбу.

– Я калека, – сообщал Кондаев. – Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты свою бабу уморишь, желвак-человек! Шел бы в отход, а ей хлеб отправлял – прибыльное дело!

– Да, пожалуй, что так и придется, – нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодой, грибами, разной травкой, а там – видно будет.

Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, хилость и покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней Кондаев лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую почерневшую Настю, бредящую от голода в колкой иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно обнадеживал Кондаева – он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует над бабами по-своему.

От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в старость. Это заметил Саша еще в прошлое лето. Утром он видел прозрачные мирные зори и вспоминал отца и раннее детство на берегу озера Мутево. Под колокол ранней обедни поднималось солнце и в скорое время превращало всю землю и деревню в старость, в запекающуюся сухую злобу людей.

Прошка залезал на крышу, морщился озабоченным лицом и сторожил небо. Утром он спрашивал у отца одно и то же – не болела ли у него поясница, чтобы переменилась погода, и когда будет месяц обмываться.

Кондаев любил ходить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых. Однажды он заметил Прошку, выскочившего без порток на улицу, потому что ему показалось, что с неба что-то капнуло.

Избы почти пели от страшной, накаленной солнцем тишины, а солома на крышах почернела и издавала тлеющий запах гари.

– Прошк! – позвал горбатый. – Ты чего небо пасешь? Правда, нынче не особенно холодно?

Прошка понял, что ничего не капнуло – только показалось.

– Иди курей чужих щупать, сломатая калека! – обиделся Прошка, когда разочаровался в капле. – Людям остаток жизни пришел, а он рад. Иди у папашки петуха пощупай!

Прошка попал в Кондаева нечаянно и метко: Кондаев в ответ вскрикнул от чуткой боли и пригнулся к земле, ища камень. Камня не было, и он бросил в Прошку горстью сухого праха. Но Прошка знал все вперед и был уже дома. Горбатый вбежал на двор, шаря на бегу руками по земле. На дороге ему попался Саша, – Кондаев ударил его с навеса костями пальцев своей

худой руки, и у Саши зазвучали кости в голове. Саша упал с полопавшейся кожей под волосами, сразу обмокшими чистой прохладной кровью.

Саша опомнился, но потом снова наполовину забылся и увидел свой сон. Не теряя памяти, что на дворе жарко, что стоит длинный голодный день и что его ударил горбатый, Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в мутные места и бросал оттуда на берег оловянное материно кольцо. Саша поднимал кольцо в мокрой траве, а этим кольцом громко бил его по голове горбатый – под треском рассыхающегося неба, из трещин которого вдруг полился черный дождь, – и сразу стало тихо: звон белого солнца замер за горой на тонущих лугах. На лугах стоял горбатый и мочился на маленькое солнце, гаснущее уже само по себе. Но рядом со сном Саша видел продолжающийся день и слышал разговор Прошки с Прохором Абрамовичем.

Кондаев же гнался по гумнам за чужой курицей, пользуясь безлюдьем и другим горем односельчан. Курицу он не поймал – она от страха залетела на уличное дерево. Кондаев хотел трясти дерево, но заметил проезжего и тихо пошел домой – походкой непричастного человека. Прошка сказал правду: Кондаев любил щупать кур и мог это делать долго, пока курица не начинала от ужаса и боли гадить ему в руку, а иногда бывало, что курица преждевременно выпускала жидкое яйцо; если кругом было малоллюдно, Кондаев глотал из своей горсти недозревшее яйцо, а курице отрывал голову.

Осенью, если был урожайный год, сил в народе оставалось много, и взрослые вместе с ребятами занимались тем, что донимали горбатого:

– Петр Федорович, пощупай нашего петушка, ради бога!

Кондаев не переносил надруганья и гнался за обидчиками до тех пор, пока не ловил какого-нибудь подростка и не причинял ему легкого увечья.

Саша видел снова один старый день. Ему давно представлялась жара в виде старика, а ночь и прохлада – в виде маленьких девочек и ребят.

В избе было открыто окно, и около печки безвыходно металась Мавра Фетисовна. При всей привычке рожать, ей что-то надоедало внутри.

– Тошнит меня! Трудно мне, Прохор Абрамыч!.. Ступай за бабкой...

Саша не поднимался из травы до самого звона к вечерне, до длинных грустных теней. Окна в избе заперли и завесили. Бабка вынесла во двор лоханку и выплеснула что-то под плетень. Туда побежала собака и съела все, кроме жидкости. Прошка давно не выходил, хотя он был дома. Другие дети гоняли где-то по чужим дворам. Саша боялся подниматься и идти в избу не вовремя. Тени трав сплотились, легкий низовой ветер, дувший весь день, остановился; бабка вышла в повязанном платке, помолилась с крыльца на темный восток и ушла. Наступила покойная ночь. Сверчок в завалинке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая свою песнью двор, траву и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут.

Саша думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен.

В избе зарыдал новый младенец, заглушая своим голосом, непохожим ни на какое слово, устоявшуюся песню сверчка. Сверчок смолк, тоже, наверное, слушая пугающий крик. Наружу вышел Прошка с мешком Саши, с каким его посылали осенью побираться, и с шапкой Прохора Абрамовича.

– Сашка! – прокричал Прошка в ночной задыхающийся воздух. – Беги сюда скорей, дармод!

Саша был около.

– Чего тебе?

– На, держи – тебе отец шапку подарил. А вот тебе мешок – ходи и не сымай, что наберешь – сам ешь, нам не носи...

Саша взял шапку и мешок.

– А вы тут одни жить останетесь? – спросил Саша, не веря, что его здесь перестали любить.

– А то нет? Знамо, одни! – сказал Прошка. – Опять нахлебник у нас родился, кабы не он, ты бы задаром жил! а теперь ты нам никак не нужен – ты одна обуза, мамка ведь тебя не рожала, ты сам родился...

Саша пошел за калитку. Прошка постоял один и вышел за ворота – напомнить, чтобы сирота больше не возвращался. Сирота никуда еще не ушел – он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице.

– Сашка! – приказал Прошка. – Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку подарили – ты теперь ступай. Хочешь, на гумне переночуй, а то – ночь. А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится...

Саша пошел по улице в сторону кладбища. Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозяйственную жердь.

– Ну никак нету дождей! – пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта. – Ну, никак: хоть ты тут ляжь и расшибись об землю, идол ее намочи!

Саша прокрался к могиле отца и залег в недорытой пещерке. Среди крестов он боялся идти, но близ отца уснул так же спокойно, как когда-то в землянке, на берегу озера.

Позже на кладбище приходили два мужика и негромко обламывали кресты на топливо, но Саша, унесенный сном, ничего не слышал.

* * *

Захар Павлович жил, ни в ком не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь.

Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил – в нем думала голова, чувствовало сердце, и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо – всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие, – то, во что превратилось посредством труда человека и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилях, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был – машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания. Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды – просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться? Звезды увлеченно светились, но каждая в одиночестве. Захар Павлович подумал – на что похоже небо? И вспомнил про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов – то были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждений и сияние прожекторов бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленней и как-то налаженней в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на двухсотой версте. Это его обеспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись непрерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.

– Сколько верст – неизвестно, потому что далече! – говорил Захар Павлович. – Но где-нибудь есть тупик и кончается последний вершок... Если бы бесконечность была на самом деле, она бы распустилась сама по себе в большом просторе и никакой твердости не было бы... Ну как – бесконечность? Тупик должен быть!

Мысль, что колесам в конце концов работы не хватит, волновала Захара Павловича двое суток, а затем он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут, – ведь пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, – и на этом успокоился.

Машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича – топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты, – но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей; люди здесь ни при чем. Наоборот, доброта природы, энергии и металла портят людей. Любой холуй может огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй – только груз. И если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих сомнительных успехов вырождаются в ржавчину, – тогда их останется передавить работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других – Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь на паровозе, и не царапал беспощадно тела машины инструментами.

– Господин наставник! – обратился раз Захар Павлович, осмелев ради любви к делу. – Позвольте спросить: отчего человек – так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно знамениты?

Наставник слушал сердито – он ревновал к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегией.

«Серый черт, – говорил для себя наставник, – тоже понадобились ему механизмы: господи боже мой!»

Против обоих людей стоял паровоз, который разогревали под ночной скорый поезд. Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг. Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета – в смуглое будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины.

Машинист-наставник сжал руки в кулаки от прилива какой-то освирепевшей крепости внутренней жизни, похожей на молодость и на предчувствие гремящего будущего. Он забыл про низкую квалификацию Захара Павловича и ответил ему, как равному другу:

– Ты вот поработал и поумнел! Но человек – чушь!.. Он дома валяется и ничего не стоит... Но ты возьми птиц...

Паровоз засифонил и заглушил слова беседы. Наставник и Захар Павлович вышли на вечерний звучный воздух и пошли сквозь строй остывших паровозов.

– Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается – потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну, по пище, жилищу они кое-как хлопочут, – ну, а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может.

– А у человека что? – не понимал Захар Павлович.

– А у человека есть машины! Понял? Человек – начало для всякого механизма, а птицы – сами себе конец...

Захар Павлович думал одинаково, отставая лишь в подборе необходимых слов, что надоедливо тормозило его размышления. Для обоих – и для машиниста-наставника, и для Захара

Павловича – природа, не тронутая человеком, казалась малопрелестной и мертвой: будь то зверь или дерево. Зверь и дерево не возбуждали в них сочувствия своей жизни, потому что никакой человек не принимал участия в их изготовлении, – в них не было ни одного сознательного удара и точности мастерства. Они жили самостоятельно, мимо опущенных глаз Захара Павловича. Любые же изделия – особенно металлические, – наоборот, существовали оживленными и даже были, по своему устройству и силе, интересней и таинственней человека. Захар Павлович много наслаждался одной постоянной мыслью: какой дорогой подспудная кровная сила человека объявляется вдруг в волнующих машинах, которые больше мастеровых и по размеру и по смыслу.

И выходило, действительно, так, как говорил машинист-наставник: в труде каждый человек превышает себя – делает изделия лучше и долговечней своего житейского значения. Кроме того, Захар Павлович наблюдал в паровозах ту же самую горячую взволнованную силу человека, которая в рабочем человеке молчит без всякого исхода. Обыкновенно слесарь хорошо разговаривает, когда напьется, в паровозе же человек всегда чувствуется большим и страшным.

Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта, чтобы прогнать резьбу в сорванной гайке. Он ходил по депо и спрашивал: нет ли у кого болта в три осьмушки – под резьбу. Ему говорили, что нет такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович еще не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастерам одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда. Во имя забавы своих соседей Захар Павлович много дел сработал напрасно. Он ходил за обтирочными концами на склад, когда они лежали горой в конторе; делал деревянные лесенки и бидоны для масла, в избытке имевшиеся в депо; даже хотел, по чужому наущению, самостоятельно менять контрольные пробки в котле паровоза, но был вовремя предупрежден одним случайным кочегаром, – иначе бы Захара Павловича уволили без всякого слова.

Захар Павлович, не найдя в этот раз подходящего болта, принялся приспособлять для прогонки гаечной резьбы один штырь, и приспособил бы, потому что никогда не терял терпения, но ему сказали:

– Эй, Три Осьмушки Под Резьбу, иди возьми болт!

С того дня Захара Павловича звали прозвищем Три Осьмушки Под Резьбу, но зато его реже обманывали при срочной нужде в инструментах.

После никто не узнал, что Захару Павловичу имя Три Осьмушки Под Резьбу понравилось больше крестного: оно было похоже на ответственную часть любой машины и как-то телесно приобщало Захара Павловича к той истинной стране, где железные дюймы побеждают земляные версты.

* * *

Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что когда вырастет, то поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени, как встречной твердой вещи, оно для него существовало лишь загадкой в механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины. Но что-то тихое и грустное было в природе – какие-то силы действовали невозвратно. Захар Павлович наблюдал реки – в них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была горькая тоска. Бывали, конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал дыхание ветер, но больше действовала тихая, равнодушная жизнь – речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении – они с заднего хода дока-

зывали уму Захара Павловича, что ничего не изменяется к лучшему – какими были деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равносильности в природе беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай – мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы, – но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась ради точности хода всеобщей жизни.

Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет – остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными мыслями, но от этого ничего к лучшему не изменилось. Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством – таким далеким, что почти не существующим. Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади – удлиняться мертвая растоптанная дорога. Но он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось – глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды и веру в нее.

Видя свое лицо в стекле паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а все тот же».

Под осень участились праздники в календаре: раз случилось три праздника подряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание побывать в поселке на шахтах, где схоронена его мать. Он помнил точно место похорон и чужой железный крест рядом с безымянной безответной могилой матери. На том кресте сохранилась ржавая, почти исчахшая вековая надпись – о смерти Ксении Федоровны Ирошниковой в 1813 году от болезни холеры, 18 лет и 3 месяцев от роду. Там было еще запечатлено: «Спи с миром, любимая дочь, до встречи младенцев с родителями».

Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать – на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь был иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах – за то, что они вертелись.

Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.

Линию железной дороги защищал с обеих сторон кустарник. Иногда в тени кустарника сидели нищие, они либо ели, либо переобувались. Они видели, как с большими скоростями вели поезда торжествующие паровозы. Но ни один нищий не знал, отчего едет сам паровоз. Даже более простое соображение – для какого счастья они живут – тоже не приходило в голову нищим. Какая вера – надежда – любовь давала силу их ногам на песчаных дорогах – ни одному подающему милостыню не было известно. Захар Павлович опускал иногда в протянутую руку две копейки, без рассуждения оплачивая то, чего нищие были лишены и чем он был вознагражден, – понимание машин.

На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подаяние: плесень откладывал отдельно, а более свежее – в сумку. Мальчик был худ, но лицом бодр и озабочен.

Захар Павлович остановился, покуривая на свежем воздухе ранней осени.

– Отбраковываешь?

Мальчик не понял технического слова.

– Дядь, дай копейку, – сказал он, – или докурить оставь!

Захар Павлович вынул пятак.

– Ты небось жулик и охальник, – без зла сказал он, уничтожая добро своего подаяния грубым словом, чтобы самому не было стыдно.

– Не, я не жулик, я побирuşка, – ответил мальчик, утрамбовывая корки в мешке. – У меня мать-отец есть, только они от голода скрылись.

– А куда же ты пуд харчей запаковал?

– Домой собираюсь наведаться. Вдруг мать с ребятишками пришла – чего тогда им есть?

– А ты сам-то чей?

– Я отцовский, я не круглая сирота. Вон те – все жулики, а меня отец порол.

– А отец твой чей?

– Отец тоже от моей матери родился – из пуза. Пузо намнут, а нахлебники как из пропасти рожаются. а ты ходи и побирайся на них!

Мальчик загорюнился от недовольства на отца. Пятак он давно спрятал в кисет, висящий на шее; в кисете было еще порядочно медных денег.

– Уморился небось? – спросил Захар Павлович.

– Ну да, уморился, – согласился мальчик. – Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Брешешь-брешешь, аж есть захочешь! Пятак подал, а самому, должно, жалко! Я б ни за что не дал.

Мальчик взял заплесневелый ломоть из кучки порченого хлеба; очевидно, лучший хлеб он сносил в деревню родителям, а плохой ел сам. Это мгновенно понравилось Захару Павловичу.

– Небось отец тебя любит?

– Ничего он не любит – он лежень. Я мать больше люблю, у нее кровь из нутра льется. Я рубашку ей раз стирал, когда она хворала.

– А отец твой кто?

– Дядя Прошка. Я ведь не здешний...

В памяти Захара Павловича нечаянно встал подсолнух, растущий из дымохода покинутой хаты, и рощи бурьяна на деревенской улице.

– Так ты Прошка Дванов, сукин сын!

Мальчик вывалил изо рта непрожеванную хлебную зелень, но не бросил ее, а положил на мешок: потом дожует.

– А ты нито дядя Захарка?

– Он!

Захар Павлович сел. Он теперь почувствовал время, как путешествие Прошки от матери в чужие города. Он увидел, что время – это движение горя и такой же осязательный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.

Какой-то малый, похожий на лишнего звания монастырского послушника, не прошел мимо своей дорогой, а сел и уставился глазами на двоих собеседников. Губы у него были красные, сохранившие с младенчества одутловатую красоту, а глаза смиренные, но без резкого ума, – таких лиц не бывает у простых людей, привыкших перехитрять свою непрерывную беду.

Прошку взволновал прохожий – особенно своими губами.

– Чего губы оттопырил? Руку мою поцеловать хочешь?

Послушник поднялся и пошел в свою сторону, про которую и сам точно не знал – где она находится.

Проша это сразу почуял и сказал вслед послушнику:

– Пошел. А куда пошел – сам не знает. Поверни его, он назад пойдет: вот черти-нахлебники!

Захар Павлович немного смутился раннего разума Прошки – сам он поздно освоился с людьми и долго считал их умнее себя.

– Прош? – спросил Захар Павлович. – А куда девался маленький мальчик – рыбацкая сирота? Его твоя мать подобрала.

– Сашка, что ль? – догадался Прошка. – Он вперед всех из деревни убер! Это такой сатаноид – житья от него не было! Украл последнюю коврижку хлеба и скрылся на ночь. Я гнался-гнался за ним, а потом сказал: пускай, и ко двору воротился...

Захар Павлович поверил и задумался.

– А где отец твой?

– Отец в отход ушел. А мне все семейство кормить наказал. Набрал я по людям хлеба, пришел на свою деревню, а там ни матери, ни ребят. А вместо народа крапива в хатах растет...

Захар Павлович отдал Прошке полтинник и попросил наведаться еще, когда будет в городе.

– Ты бы мне картуз отдал! – сказал Прошка. – Тебе все равно ничего не жалко. А то мне голову дожди моют, я могу остудиться.

Захар Павлович отдал фуражку, сняв с нее железнодорожный значок, который ему был дороже головного убора.

Прошел поезд дальнего следования, и Прошка поднялся поскорей уходить, чтобы Захар Павлович не отнял обратно денег и фуражки. Картуз Прошке пришлось на лохматую голову как раз, но Прошка его только померил, а затем снял и завязал в сумку с хлебом.

– Ну, прощай, иди с богом, – сказал Захар Павлович.

– Тебе хорошо говорить – ты всегда с хлебом, – упрекнул Прошка. – А у нас и того нет.

Захар Павлович не знал, что дальше сказать, – денег у него больше не было.

– Намедни я Сашку в городе встретил, – проговорил Прошка. – Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться несмел. Я ему дал порцию, а сам не ел. Ты небось мамке его подкинул – теперь давай денег за Сашку! – кончил Прошка серьезным голосом.

– Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи, – ответил Захар Павлович.

– А что дашь? – заранее спросил Прошка.

– Получка будет – рублевку дам.

– Ладно, – сказал Прошка. – Это я тебе его приведу. Только ты его не приучай, а то он тебя охомутает.

Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы.

Захар Павлович последил за ним глазами и с чего-то усомнился в драгоценности машин и изделий выше любого человека.

Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешком по железной дороге – по ней ездили другие; она его не касалась и не помогала ему. Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно, как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах. Посредством своего живого рассуждающего ума Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум – это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства.

Прошка пропал на закруглении линии – один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять.

Утром Захару Павловичу не так хотелось идти на работу, как обыкновенно. Вечером он затосковал и лег сразу спать. Болты, краны и старые манометры, что всегда хранились на столе, не могли рассеять его скуки – он глядел на них и не чувствовал себя в их обществе. Что-то свербило внутри его, словно скрежетало сердце на обратном, непривычном ходу. Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся природой. Захар Павлович думал без ясной мысли, без сложности слов – одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было

достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять – что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю.

На следующий день – третий после встречи Прошки – Захар Павлович не дошел до депо. Он снял номер в проходной будке и затем повесил его обратно. День он провел в овраге, под солнцем и паутиной бабьего лета. Он слышал гудки паровозов и шум их скорости, но не вылезал глядеть, не чувствуя больше уважения к паровозам.

Рыбак утонул в озере Мутево, бобыль умер в лесу, пустое село заросло кущами трав, но зато шли часы церковного сторожа, ходили поезда по расписанию – и было теперь Захару Павловичу скучно и стыдно от правильности действий часов и поездов.

– Что бы наделал Прошка в моих летах в разуме? – обсуждал свое положение Захар Павлович. – Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы.

Тот теплый туман, в котором покойно и надежно жил Захар Павлович, сейчас был разнесен чистым ветром, и перед Захаром Павловичем открылась беззащитная, одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин.

Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича: я, говорит, серьезно допустил, что ты отродье старинных мастеров, а ты так себе – чернорабочая сила, шлак из-под бабы!

Захар Павлович от душевного смущенья, действительно, терял свое усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось трудным правильно ударить даже по шляпке гвоздя. Машинист-наставник знал это лучше всех – он верил, что, когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной естественности станет одной денежной нуждой, – тогда наступит конец света, даже хуже конца – после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.

* * *

Сын любопытного рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подавании, он верил, что все люди не богаче его. Спасся от смерти он тем, что у одного молодого слесаря заболела жена, и слесарю не с кем было оставлять жену, когда он уходил на работу. А жена его боялась одна оставаться в комнате и слишком скучала. Слесарю понравилась какая-то прелесть в почерневшем от усталости мальчугане, нищенствовавшем без всякого внимания к подаванию. Он его посадил дежурить около больной женщины, которая ему не перестала быть милее всех.

Саша целыми днями сидел на табуретке, в ногах больной, и женщина ему казалась такой же красивой, как его мать в воспоминаниях отца. Поэтому он жил и помогал больной с беззаветностью позднего детства, никем раньше не принятого. Женщина полюбила его и называла Александром, не привыкнув быть госпожой. Но скоро она выздоровела, и ее муж сказал Саше: «На тебе, мальчик, двадцать копеек, ступай куда-нибудь».

Саша взял непривычные деньги, вышел на двор и заплакал. Близ уборной, верхом на мусоре, сидел Прошка и копался руками под собой. Он теперь собирал кости, тряпки и жесть, курил и постарел лицом от праховой пыли мусорных куч.

– Ты опять плачешь, гундосый черт? – не прерывая работы, спросил Прошка. – Пойди поройся, а я чаю попить сбегая: нынче соленое ел.

Но Прошка пошел не в трактир, а к Захару Павловичу. Тот читал книгу вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил руку на преданное храброе сердце и сказал: „Я люблю тебя, дорогая...»

Прошка сначала послушал – думал, что это сказка, а потом разочаровался и сразу сказал:

– Захар Павлович, давай рубль, я тебе сейчас Сашку-сироту приведу!

– А?! – испугался Захар Павлович. Он обернулся своим печальным старым лицом, которое бы и теперь любила жена, если бы она жива была.

Прошка снова назначил цену за Сашку, и Захар Павлович отдал ему рубль, потому что он теперь был и Сашке рад. Столяр съехал с квартиры на шпалопропиточный завод, и Захару Павловичу досталась пустота двух комнат. В последнее время хотя и беспокойно, но забавно было жить с сыновьями столяра; они возмужали настолько, что не знали места своей силе и несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили огонь, не дав ему полностью разгореться. Отец на них серчал, а они говорили ему: чего ты, дед, огня боишься – что сгорит, то не сгниет; тебя бы, старого, сжечь надо – в могиле гнить не будешь и не провоняешь никогда!

Перед отъездом сыновья повалили будку уборной и отрубили хвост дворовому псу.

Прошка не сразу отправился к Сашке: сначала он купил пачку папирос «Землячок» и запросто побеседовал с бабами в лавке. Потом Прошка возвратился к мусорной куче.

– Сашка, – сказал он. – Пойдем, я тебя отведу, чтобы ты больше мне не навязывался!

* * *

В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу – жену Дарью Степановну. Ему легче было никогда полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двухсменная суета была несчастьем Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушел бы в босаяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересовать: во-первых, сколько ни работал он, все равно люди жили бедно и жалобно, во-вторых, мир заволакивался какой-то равнодушной грезой – наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою тихую смерть. Так бывает под старость со многими мастеровыми: твердые вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно обучают их непреложности всеобщей гибельной судьбы. На их глазах выходят из строя паровозы, преют годами под солнцем, а потом идут в лом. В воскресные дни Захар Павлович ходил на реку ловить рыбу и додумывать последние мысли.

Дома его утешением был Саша. Но и на этом утешении мешала сосредоточиться постоянно недовольная жена. Может быть, это вело к лучшему: если бы Захар Павлович мог до конца сосредоточиться на увлекавших его предметах, он бы, наверное, заплакал.

В такой рассеянной жизни прошли целые годы. Иногда, наблюдая с койки читающего Сашу, Захар Павлович спрашивал:

– Саш, тебя ничего не мучает?

– Нет, – говорил Саша, привыкший к обычаям приемного отца.

– Как ты думаешь, – продолжал свои сомнения Захар Павлович, – всем обязательно нужно жить или нет?

– Всем, – отвечал Саша, немного понимая тоску отца.

– А ты нигде не читал: для чего?

Саша оставлял книгу.

– Я читал, что чем дальше, тем лучше будет жить.

– Ага! – доверчиво говорил Захар Павлович. – Так и напечатано?

– Так и напечатано.

Захар Павлович вздыхал:

– Все может быть. Не всем дано знать.

Саша уже год работал учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. К машинам и мастерству его влекло, но не так, как Захара Павловича. Его влечение не было любопытством, которое кончалось вместе с открытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне

с другими действующими и живыми предметами. Он скорее хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производил все звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с курами или паровозом давало ему удовлетворение. Саша не мог поступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочувствия чему-нибудь или кому-нибудь.

«Я так же, как он», – часто говорил себе Саша. Глядя на давний забор, он думал задумчивым голосом: «Стоит себе!» – и тоже стоял где-нибудь без всякой нужды. Когда осенью заунывно поскрипывали ставни и Саше было скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: им тоже скучно! – и переставал скучать.

Когда Саше надоедало ходить на работу, он успокаивал себя ветром, который дул день и ночь.

«Я так же, как он, – видел ветер Саша, – я работаю хоть один день, а он и ночь – ему еще хуже».

Поезда начали ходить очень часто – это наступила война. Мастерские остались к войне равнодушны – их на войну не брали, и она им была так же чужда, как паровозы, которые они чинили и заправляли, но которые возили незнакомых незанятых людей.

Саша монотонно чувствовал, как движется солнце, проходят времена года и круглые сутки бегут поезда. Он уже забывал отца-рыбака, деревню и Прошку, идя вместе с возрастом навстречу тем событиям и вещам, которые он должен еще почувствовать, пропустив внутрь своего тела. Себя самого, как самостоятельный твердый предмет, Саша не признавал – он всегда воображал что-нибудь чувством, и это вытесняло из него представление о самом себе. Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна. Им владели внешние видения, как владеют свежие страны путешественником. Своих целей он не имел, хотя ему минуло уже шестнадцать лет, зато он без всякого внутреннего сопротивления сочувствовал любой жизни – слабости хилых дворовых трав и случайному ночному прохожему, кашляющему от своей бесприютности, чтобы его услышали и пожалели. Саша слушал и жалел. Он наполнялся тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине. Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безмянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни.

Захар Павлович ни в чем не мешал Саше – он любил его всею преданностью старости, всем чувством каких-то безотчетных, неясных надежд. Часто он просил Сашу почитать ему о войне, так как сам при лампе не разбирал букв.

Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, людей и имущества. Захар Павлович молча слушал, а в конце концов говорил:

– Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война... А я хожу и думаю, что война – это нарочно властью выдуманно: обыкновенный человек так не может...

Саша спрашивал, как же должно быть.

– Так, – отвечал Захар Павлович и возбуждался. – Иначе как-нибудь. Послали бы меня к германцу, когда ссора только началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!

Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там, наверху, царь и его служащие – едва ли дураки. Значит, война – это несерьезное, нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился в тупик: можно ли по душам

говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?

В первый раз Саша увидел убитого человека в своем же депо. Шел последний час работы – перед самым гудком. Саша набивал сальники в цилиндрах, когда два машиниста внесли на руках бледного наставника, из головы которого густо выжималась и капала на мазутную землю кровь. Наставника унесли в контору и оттуда стали звонить по телефону в приемный покой. Сашу удивило, что кровь была такая красная и молодая, а сам машинист-наставник такой седой и старый: будто внутри он был еще ребенком.

– Черти! – ясно сказал наставник. – Помажьте мне голову нефтью, чтоб кровь-то хоть остановилась!

Один кочегар быстро принес ведро нефти, окунул в нее обтирочные концы и помазал ими жирную от крови голову наставника. Голова стала черная, и от нее пошло видимое всем испарение.

– Ну вот, ну вот! – поощрил наставник. – Вот мне и полегчало. А вы думали, я умру? Рано еще, сволочи, ликовать...

Наставник понемногу ослаб и забылся. Саша разглядел ямы в его голове и глубоко забившиеся туда, вдавленные, уже мертвые волосы. Никто не помнил своей обиды против наставника, несмотря на то, что ему и сейчас болт был дороже и удобней человека.

Захар Павлович, стоявший здесь же, насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них не капали во всеуслышание слезы. Он снова видел, что как ни зол, как ни умен и храбр человек, а все равно грустен и жалок и умирает от слабости сил.

Наставник вдруг открыл глаза и зорко взгляделся в лица подчиненных и товарищей. Во взоре его еще блестела ясная жизнь, но он уже томился в туманном напряжении, а побелевшие веки закатывались в подбровную глазницу.

– Чего плачете? – с остатком обычного раздражения спросил наставник. Никто не плакал – у одного Захара Павловича из вытарашенных глаз шла по щекам грязная невольная влага. – Чего вы стоите и плачете, когда гудка не было!

Машинист-наставник закрыл глаза и подержал их в нежной тьме; никакой смерти он не чувствовал – прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей. Все это уже случалось с ним, но очень давно, и где – нельзя вспомнить. Когда наставник снова открыл глаза, то увидел людей, как в волнующейся воде. Один стоял низко над ним, словно безногий, и закрывал свое обиженное лицо грязной, испорченной на работе рукой.

Наставник рассердился на него и поспешил сказать, потому что вода над ним уже смеркалась.

– Плачет чего-то, а Гераська опять, скотина, котел сжег... Ну, чего плачет? Нового человека соберись и сделай...

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму – это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленных костей, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста...

– Нового человека соберись и сделай... Гайку, сволочь, не сумеешь, а человека моментально...

Здесь наставник втянул воздух и начал что-то сосать губами. Видно было, что ему душно в каком-то узком месте, он толкался плечами и силился навсегда поместиться.

– Просуньте меня поглубже в трубу, – прошептал он опухшими детскими губами. – Иван Сергеич, позови Три Осьмушки Под Резьбу – пусть он, голубчик, контрагаечкой меня зажмет...

Носилки принесли поздно. Не к чему было нести машиниста-наставника в приемный покой.

– Несите человека домой, – сказали мастеровые врачу.

– Никак нельзя, – ответил врач. – Он нам для протокола необходим.

В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы при перегонке холодного паровоза, сцепленного с горячим пятисаженным стальным тросом. При переходе стрелки трос коснулся путевого фонарного столба, который упал и повредил своим кронштейном голову наставника, наблюдавшего с тендера тягового паровоза за прицепной машиной. Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника, а также вследствие несоблюдения надлежащих правил службы движения и эксплуатации.

Захар Павлович взял Сашу за руку и пошел из депо домой. Жена за ужином сказала, что мало продают хлеба и нет нигде говядины.

– Ну и померем, только и делов, – ответил без сочувствия Захар Павлович. Для него весь житейский обиход потерял важное значение.

Для Саши – в ту пору его ранней жизни – в каждом дне была своя, безыменная прелесть, не повторявшаяся в будущем; образ машиниста-наставника ушел для него в сон воспоминаний. Но у Захара Павловича уже не было такой самозарастающей силы жизни: он был стар, а этот возраст нежен и обнажен для гибели наравне с детством.

Ничто не тронуло Захара Павловича в следующие годы. Только по вечерам, когда он глядел на читающего Сашу, в нем поднималась жалость к нему. Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгой – если бы там было что серьезное, давно бы люди обнялись друг с другом. Но Захар Павлович ничего не говорил, хотя в нем постоянно шевелилось что-то простое, как радость, но ум мешал ей высказаться. Он тосковал о какой-то отвлеченной, успокоительной жизни на берегах гладких озер, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни.

Захар Павлович терялся в своих догадках; всю жизнь его отвлекали случайные интересы, вроде машин и изделий, и только теперь он опомнился: что-то должна прошептать ему на ухо мать, когда кормила его грудью, что-то такое же кровное, необходимое, как ее молоко, вкус которого теперь навсегда забыт. Но мать ничего ему не пошептала, а самому про весь свет нельзя сообразить. И поэтому Захар Павлович стал жить смирно, уже не надеясь на всеобщее коренное улучшение: сколько бы ни делать машин – на них не ездить ни Прошке, ни Сашке, ни ему самому. Паровозы работают либо для посторонних людей, либо для солдат, но их везут насильно. Машина сама – тоже не своевольное, а безответное существо. Ее теперь Захар Павлович больше жалел, чем любил, и даже говорил в депо паровозу с глазу на глаз:

– Поедешь? Ну, поезжай! Ишь как дышла свои разработал – должно быть, тяжела пассажирская сволочь.

Паровоз хотя и молчал, но Захар Павлович его слышал.

– Колосники затекают – уголь плохой, – грустно говорил паровоз. Тяжело подъемы брать. Баб тоже много к мужьям на фронт ездят, а у каждой по три пуда пышек. Почтовых вагонов, опять-таки, теперь два цепляют а раньше один, – люди в разлуке живут и письма пишут.

– Ага, – задумчиво беседовал Захар Павлович и не знал, чем же помочь паровозу, когда люди непосильно нагружают его весом своей разлуки. – А ты особо не тужись – тяни спрехвала.

– Нельзя, – с кротостью разумной силы отвечал паровоз. – Мне с высоты насыпи видны многие деревни: там люди плачут – ждут писем и раненых родных. Посмотри мне в сальник – туго затянули, поршневую скалку нагрелю на ходу.

Захар Павлович шел и отдавал болты на сальнике.

– Действительно, затянули, сволочи, – разве ж так можно!

– Чего ты сам возишься? – спрашивал дежурный механик, выходя из конторы. – Тебя очень просили копаться там? Скажи – да или нет?

– Нет, – укрощенно говорил Захар Павлович. – Мне показалось, туго затянули...

Механик не сердился.

– Ну и не трожь, раз тебе показалось. Их как ни зятяни – все равно на ходу парят.

После паровоз тихо бурчал Захару Павловичу:

– Дело не в зятяжке – там шток посредине разработан, оттого и сальники парят. Разве я сам хочу это делать?

– Да я видел, – вздыхал Захар Павлович. – Но я ведь обтирщик, сам знаешь, мне не верят.

– Вот именно! – густым голосом сочувствовал паровоз и погружался во тьму своих охлажденных сил.

– Я ж и говорю! – поддакивал Захар Павлович.

Когда Саша поступил на вечерние курсы, то Захар Павлович про себя обрадовался. Он всю жизнь прожил своими силами, без всякой помощи, никто ему ничего не подсказывал – раньше собственного чувства, а Саше книги чужим умом говорят.

– Я мучился, а он читает – только и всего! – завидовал Захар Павлович.

Почитав, Саша начинал писать. Жена Захара Павловича не могла уснуть при лампе.

– Все пишет, – говорила она. – А чего пишет?

– А ты спи, – советовал Захар Павлович. – Закрой глаза кожей – и спи!

Жена закрывала глаза, но и сквозь веки видела, как напрасно горит керосин. Она не ошиблась – действительно, зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещая раздражающие душу страницы книг, которым он позднее все равно не последовал. Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место – та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир. В семнадцать лет Дванов еще не имел брони над сердцем – ни веры в бога, ни другого умственного покоя; он не давал чужого имени открывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир оставался ненареченным, он только ожидал услышать его собственное имя из его же уст, вместо нарочно выдуманных прозваний.

Однажды он сидел ночью в обычной тоске. Его не закрытое верой сердце мучилось в нем и желало себе утешения. Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная, как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слов песни.

Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующегося в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное – горы живого воздуха, который нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия заранее захватывало грудь, и пустота внутри тела еще более разжималась, готовая к захвату будущей жизни.

– Вот это – я! – громко сказал Александр.

– Кто – ты? – спросил неспавший Захар Павлович.

Саша сразу смолк, объятый внезапным позором, унесшим всю радость его открытия. Он думал, что сидит одиноким, а его слушал Захар Павлович.

Захар Павлович это заметил и уничтожил свой вопрос равнодушным ответом самому себе:

– Чтец ты, и больше ничего... Ложись лучше спать, уже поздно... – Захар Павлович зевнул и мирно сказал: – Не мучайся, Саш, – ты и так слабый...

«И этот в воде из любопытства утонет, – прошептал для себя Захар Павлович под одеялом. – А я на подушке задохнусь. Одно и то же».

Ночь продолжалась тихо – из сеней было слышно, как кашляют сцепщики на станции. Кончался февраль, уже обнажались бровки на канавах с прошлогодней травой, и на них глядел Саша, словно на сотворение земли. Он сочувствовал появлению мертвой травы и рассматривал ее с таким прилежным вниманием, какого не имел по отношению к себе.

Он до теплокровности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом. О себе он только думал, а постороннее чувствовал с впечатлительностью личной жизни и не видел, чтобы у кого-нибудь это было иначе.

Захар Павлович однажды разговорился с Сашей как равный человек.

– Вчера котел взорвался у паровоза серии Ще, – говорил Захар Павлович.

Саша это уже знал.

– Вот тебе и наука, – огорчился по этому и по какому-то другому поводу Захар Павлович. – Паровоз только что с завода пришел, а заклепки к черту!.. Никто ничего серьезного не знает – живое против ума прет...

Саша не понимал разницы между умом и телом и молчал. По словам Захара Павловича выходило, что ум – это слабосудная сила, а машины изобретены сердечной догадкой человека – отдельно от ума.

Со станции иногда доносился гул эшелонов. Гремели чайники, и странными голосами говорили люди, как чужие племена.

– Кочуют! – прислушивался Захар Павлович. – До чего-нибудь докочуются.

Разочарованный старостью и заблуждениями всей своей жизни, он ничуть не удивился революции.

– Революция легче, чем война, – объяснял он Саше. – На трудное дело люди не пойдут: тут что-нибудь не так...

Теперь Захара Павловича невозможно было обмануть, и он ради безошибочности отверг революцию.

Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят – добра не будет.

До самого октября месяца он насмехался, в первый раз почувствовав удовольствие быть умным человеком. Но в одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе и всю ночь пробыл на дворе, заходя в горницу лишь закурить. Всю ночь он хлопал дверями, не давая заснуть жене.

– Да угомонись ты, идол бешеный! – ворочалась в одиночестве старуха. – Вот пешеход-то!.. И что теперь будет – ни хлеба, ни одежды!.. Как у них руки-то стрелять не отсохнут – без матерей, видно, росли!

Захар Павлович стоял посреди двора с пылающей сигаркой, поддакивая дальней стрельбе.

– Неужели это так? – спрашивал себя Захар Павлович и уходил закуривать новую сигарку.

– Ложись, леший! – советовала жена.

– Саша, ты не спишь? – волновался Захар Павлович. – Там дураки власть берут, – может, хоть жизнь поумнеет.

Утром Саша и Захар Павлович отправились в город. Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. Захар Павлович проверял партии на свой разум – он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье – это сложное изделие, и не в нем цель человека, а в исторических законах. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.

– Вот это так! – резонно удивлялся Захар Павлович. – Значит, работай без жалованья. Тогда это не партия, а эксплуатация. Идем, Саш, с этого места. У религии и то было торжество православия...

В следующей партии сказали, что человек настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счастьем – это был бы конец света.

– Его-то нам и надо! – сказал Захар Павлович.

За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

– Ты что? – спросил он Захара Павловича.

– Хотем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

– Социализм, что ль? – не понял человек. – Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

– Тогда пиши нас, – обрадовался Захар Павлович.

Человек дал им по пачке мелких книжек и по одному вполонину напечатанному листу.

– Программа, устав, резолюция, анкета, – сказал он. – Пишите и давайте двух поручителей на каждого.

Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.

– А устно нельзя?

– Нет. На память я регистрировать не могу, а партия вас забудет.

– А мы являться будем.

– Невозможно: по чем же я вам билеты выпишу? Ясное дело – по анкете, если вас утвердит собрание.

Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия – наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построят, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.

– Ты запишись, Саш, для пробы, – сказал Захар Павлович. – А я годок обожду.

– Для пробы не записываем, – отказал человек. – Или навсегда и полностью наш, или – стучите в другие двери.

– Ну, всерьез, – согласился Захар Павлович.

– А это другое дело, – не возражал человек.

Саша сел писать анкету. Захар Павлович начал расспрашивать партийного человека о революции. Тот отвечал между делом, озабоченный чем-то более серьезным.

– Рабочие патронного завода вчера забастовали, а в казармах произошел бунт. Понял? А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне.

– Ну?

Партийный человек отвлекся телефоном: «Нет, не могу, – сказал он в трубку. – Сюда приходят представители массы, надо же кому-нибудь информацией заниматься!»

– Что – ну? – вспомнил он. – Партия туда послала представителей оформить движение, и ночью же нами были захвачены жизненные центры города.

Захар Павлович ничего не понимал:

– Да ведь это солдаты и рабочие взбунтовались, а вы-то здесь при чем? Пускай бы они своей силой и дальше шли!

Захар Павлович даже раздражался.

– Ну, товарищ рабочий, – спокойно сказал член партии, – если так рассуждать, то у нас сегодня буржуазия уже стояла бы на ногах и с винтовкой в руках, а не была бы Советская власть.

«А может, что-нибудь лучшее было бы!» – подумал Захар Павлович, но что – сам себе не мог доказать.

– В Москве нет беднейших крестьян, – усомнился Захар Павлович.

Мрачный партийный человек еще более нахмурился, он представил себе все великое невежество масс и то, сколько для партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством. Он заранее почувствовал усталость и ничего не ответил Захару Павловичу. Но Захар Павлович донимал его прямыми вопросами. Он интересовался, кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие.

Мрачный человек даже оживился и повеселел от такого крутого непосредственного контроля. Он позвонил по телефону. Захар Павлович загляделся на телефон с забытым увлечением. «Эту штуку я упустил из виду, – вспомнил он про свои изделия. – Ее я сроду не делал».

– Дай мне товарища Перекорова, – сказал по проволоке партийный человек. – Перекоров? Вот что. Надо бы поскорее газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературы побольше выпустить... Слушаю. А ты кто? Красногвардеец? Ну, тогда брось трубку, – ты ничего не понимаешь...

Захар Павлович вновь рассердился:

– Я тебя спрашивал оттого, что у меня сердце болит, а ты газетой меня утешаешь... Нет, друг, всякая власть есть царство, тот же синклит и монархия, – я много передумал...

– А что же надо? – озадачился собеседник.

– Имущество надо унизить, – открыл Захар Павлович. – А людей оставить без призора – к лучшему обойдется, ей-богу, правда!

– Так это анархия!

– Какая тебе анархия – просто себе отдельная жизнь!

Партийный человек покачал лохматой и бессонной головой:

– Это в тебе мелкий собственник говорит. Пройдет с полгода, и ты сам увидишь, что принципиально заблуждался.

– Обождем, – сказал Захар Павлович. – Если не справитесь, отсрочку дадим.

Саша дописал анкету.

– Неужели это так? – говорил на обратной дороге Захар Павлович. – Неужели здесь точное дело? Выходит, что так.

На старости лет Захар Павлович обозлился. Ему теперь стало дорого, чтобы револьвер был в надлежащей руке, – он думал о том кронциркуле, которым можно было бы проверить большевиков. Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил все – разверстое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довел себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым. И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принес никакой радости и защиты и с которыми ему предстоит расстаться.

– Саш, – сказал он, – ты сирота, тебе жизнь досталась задаром. Не жалея ее, живи главной жизнью.

Александр молчал, уважая скрытое страдание приемного отца.

– Ты не помнишь Федьку Беспалова? – продолжал Захар Павлович. – Слесарь у нас такой был – теперь он умер. Бывало, пошлют его что-нибудь смерить, он пойдет, приложит пальцы и идет с расставленными руками. Пока донесет руки, у него из аршина сажень получается. «Что ж ты, сукин сын?» – ругают его. А он: «Да мне дюже нужно – все равно за это не прогонят».

Лишь на другой день Александр понял, что хотел сказать отец.

– Хотя они и большевики и великомученики своей идеи, – напутствовал Захар Павлович, – но тебе надо глядеть и глядеть. Помни: у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут, – тут великое дело... Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться...

Захар Павлович разжигался от собственных слов и все более восходил к какому-то ожесточению.

– А иначе... Знаешь, что иначе будет? В топку – и дымом по ветру! В шлак, в шлак кочережкой – и под откос! Понял ты меня или нет?..

От возбуждения Захар Павлович перешел к растроганности и в волнении ушел на кухню закуривать. Затем он вернулся и робко обнял своего приемного сына:

– Ты, Саш, не обижайся на меня! Я тоже круглый сирота, нам с тобой некому пожалиться.

Александр не обижался. Он чувствовал сердечную жажду Захара Павловича, но верил, что революция – это конец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец-рыбак найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном чувстве Александр уже имел тот новый свет, но его можно лишь сделать, а не рассказать.

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в политехникум.

По вечерам он вслух читал Захару Павловичу технические учебники, а тот наслаждался одними непонятными звуками науки и тем, что его Саша понимает их.

Но скоро ученье Александра прекратилось, и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны – в степной город Новохоперск.

Захар Павлович целые сутки сидел с Сашей на вокзале, поджидая попутного эшелона, и искурил три фунта махорки, чтобы не волноваться. Они уже обо всем переговорили, кроме любви. О ней Захар Павлович сказал стесняющимся голосом предупредительные слова:

– Ты ведь, Саш, уже взрослый мальчик – сам все знаешь... Главню, не надо этим делом нарочно заниматься – это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как будто куда-то тянет, чего-то хочется... У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит...

Александр не мог почувствовать империализма в своем теле. Он вообразил, что это что-то особое и странное.

Когда подали сборный эшелон и Александр пролез в вагон, Захар Павлович попросил его с платформы:

– Напиши мне когда-нибудь письмо, что жив, мол, и здоров – только и всего...

– Да я больше напишу, – ответил Саша.

Вокзальный колокол звонил уже раз пять, и всё по три звонка, а эшелон никак не мог тронуться. Сашу оттерли от дверей вагона незнакомые люди, и он больше наружу не показывался.

Захар Павлович истомился и пошел домой. До дома он шел долго, всю дорогу забывая закурить и мучаясь от этой мелкой досады. Дома он сел за угольный столик, где всегда сидел Саша, и начал по складам читать алгебру, ничего не понимая, но постепенно находя себе утешение.

* * *

Город Новохоперск, пока ехал туда Александр Дванов, был завоеван казаками, но отряд учителя Нехворайко сумел их выжить из города. Всюду вокруг Новохоперска было сухое место, а один подступ, что с реки, занят болотами; здесь казаки несли слабую бдительность, рассчитывая на непроходимость. Но учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые.

Дванов сходил в ревком и поговорил с людьми. Те немного пожаловались на отсутствие бязи для красноармейского белья, отчего вошь кипит на людях кашей, но решили драться до голой земли.

Машинист из депо, предревкома, сказал Дванову:

– Революция – риск: не выйдет – почву вывернем и глину оставим, пусть кормятся любые сукины дети, раз рабочему не повезло!

Особого дела Дванову не дали, сказали только: живи тут с нами, всем будет лучше, а там поглядим, о чем ты больше тоскуешь.

Ровесники Дванова сидели в клубе на базарной площади и усердно читали революционные сочинения. Вокруг читателей висели красные лозунги, а в окна было видно опасное про-

странство полей. Читатели и лозунги были беззащитны, – прямо из степи можно достать пулей склоненную над книжкой голову молодого коммуниста.

Пока Дванов приучался к степной воюющей революции и уже начинал любить здешних товарищей, из губернии пришло письмо с приказом о возвращении. Александр пошел из города молча и пешком. Вокзал находился в четырех верстах, но как доехать до губернии, Дванов не знал: говорили, что казаки заняли линию. С вокзала шел по полю оркестр и играл печальную музыку – оказывается, несли остывшее тело погибшего Нехворайко, которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе Песках. Дванову жалко стало Нехворайко, потому что над ним плакали не мать и отец, а одна музыка, и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно умереть в обиходе революции.

Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину, и Александру жаль было тот одинокий Новохоперск, точно без него он стал еще более беззащитным.

На вокзале Дванов почувствовал тревогу заросшего, забвенного пространства. Как и каждого человека, его влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи скучали по нем и звали его.

Десять или более безымянных людей сидели на полу и надеялись на поезд, который их увезет в лучшее место. Они без жалобы переживали мучения революции и терпеливо бродили по степной России в поисках хлеба и спасения. Дванов вышел наружу, разглядел на пятом пути какой-то воинский поезд и пошел к нему. Поезд состоял из восьми платформ с повозками и артиллерией и двух классных вагонов. Сзади были прицеплены еще две платформы – с углем.

Командир отряда пустил Дванова в классный вагон, просмотрев его документы.

– Только мы едем до Разгуляевского разъезда, товарищ! – заявил командир. – А дальше нам поезд не нужен: мы выходим на позицию.

Дванов согласился ехать и до Разгуляева, а там он будет ближе к дому.

Красноармейцы-артиллеристы почти все спали. Они две недели сражались под Балаховом и тяжело устали. Двое выспались и сидели у окна, напевая песню от скуки войны. Командир лежа читал «Приключения отшельника, любителя изящного, изданные Тиком», а политком пропадал где-то на телеграфе. Вагон, вероятно, перевез много красноармейцев, тосковавших в дальних дорогах и от одиночества исписавших стены и лавки химическими карандашами, какими всегда пишутся с фронта письма на родину. Дванов в задумчивом унынии читал эти изречения – он и дома прочитывал новый календарь за год вперед.

«Наша надежда стоит на якоре на дне морском, – писал неизвестный военный странник и подписывал место размышления: Джанкой, 18 сентября, 1918».

Смерклось – и поезд тронулся без отходного свистка. Дванов задремал в горячем вагоне, а проснулся уже во тьме. Его разбудил скрежет тормозных колодок и еще какой-то постоянный звук. Окно вспыхнуло светом мгновения, и низко прогрел воздух снаряд. Он разорвался недалеко, светло показав жнивье и смирное ночное поле. Дванов очнулся и встал.

Поезд робко прекратил движение. Комиссар пошел наружу, и Дванов с ним. Линию явно обстреливали казаки – их батарея сверкала где-то недалеко, но все время давала перелет.

Прохладно и грустно было тою ночью, долго шли двое людей до паровоза. Машина чуть шумела котлом, и горел маленький огонек, как лампадка, над манометром.

– Что стали? – спросил комиссар.

– Боюсь за путь, товарищ политком: обстреливают, а мы без огней идем – нарвемся на крушение! – тихо ответил сверху машинист.

– Ерунда: видишь – они перелет делают! – сказал комиссар. – Только дуй побыстрее без шума!

– Ну, ладно! – согласился машинист. – У меня помощник один – не управится, дайте солдата для топки!

Дванов догадался и влез на паровоз для помощи. Шрапнель разорвалась впереди паровоза и осветила весь состав. Побледневший машинист повел ручкой регулятора и крикнул Дванову и помощнику:

– Держи пар!

Александр усердно начал совать дрова в топку. Паровоз пошел с клопочущей скоростью. Впереди лежала помертвевшая тьма, и, быть может, в ней находился разобранный путь. На закруглениях машину швыряло так, что Дванов думал о сходе с рельсов. Машина резко и часто отсекала пар, и слышен был гулкий поток воздуха от трения бегущего тела паровоза. Под паровозом иногда грохотали малые мосты, а вверху таинственным светом вспыхивали облака, отражая выбегающий огонь из открытой топки. Дванов быстро вспотел и удивлялся, чего механик так гонит поезд, раз казачью батарею давно проехали. Но испуганный машинист без конца требовал пара, сам помогая кормить топку, и ни разу не отвел регулятора с его крайней точки.

Александр выглянул из паровоза. В степи давно настала тишина, нарушаемая лишь ходом поезда. Спереди бежали туманные огни: наверное, станция.

– Чего он так гонит? – спросил Дванов у помощника про машиниста.

– Не знаю, – угрюмо ответил тот.

– Так мы же обязательно сами наделаем крушение! – произнес Дванов, а сам не знал, что ему делать.

Паровоз трепетал от напряжения и размахивал всем корпусом, ища возможности выброситься под откос от душащей его силы и неизрасходованной скорости. Иногда Дванову казалось, что паровоз уже сорвался с рельсов, а вагоны еще не успели, и он гибнет в тихом прахе мягкой почвы, и Александр хватался за грудь, чтобы удержать сердце от страха.

Когда поезд проскакивал стрелки и скрещения какой-то станции, Дванов видел, как колеса выбивали огонь на крестовинах.

Потом паровоз опять тонул в темную глушь будущего пути и в ярость полного хода машины. Закругления валили с ног паровозную бригаду, а вагоны сзади не успевали отбивать такт на скреплениях рельсов и проскакивали их с воем колес.

Помощнику, видно, надоела работа, и он сказал механику:

– Иван Палыч! Скоро Шкарино, давайте остановимся – воды возьмем!

Машинист слышал, но промолчал; Дванов догадался, что он забыл от утомления думать, и осторожно открыл нижний кран тендера. Этим он хотел спустить остаток воды и заставить машиниста прекратить ненужный бег. Но тот сам закрыл регулятор и отошел от окна. Лицо его было спокойное, и он полез за табаком. Дванов тоже успокоился и завернул кран тендера. Машинист улыбнулся и сказал ему:

– Зачем ты это делал? За нами белый броневик с Марьинского разъезда все время шел – вот я и уходил!

Дванов не понимал:

– А теперь он что? Почему же вы после батареи не сдали хода, когда мы еще не доехали до Марьинского разъезда?..

– Теперь бронепоезд отстал – можно потише, – ответил машинист. – Залезь на дрова, погляди назад!

Александр влез на горку дров. Скорость все еще была велика, и ветер охлаждал тело Дванова. Сзади было совсем темно, и только поскрипывали спешащие вслед вагоны.

– А до Марьина почему вы спешили? – опять допытывался Дванов.

– Нас не заметила батарея – она могла переменить прицел – надо было подальше уйти! – объяснил машинист, но Дванов предположил, что он испугался.

В Шкарино поезд остановился. Пришел комиссар и удивился рассказу механика. На Шкарине было пусто, из колонки в паровоз медленно текла последняя вода. Подошел какой-то

местный человек и глухо, против ночного ветра, сообщил, что на Поворино казачьи разъезды – эшелон не проедет.

– Нам до Разгуляя только! – ответил комиссар.

– А-а! – сказал человек и ушел в темное станционное здание.

Александр пошел за ним в помещение. В зале для публики было пусто и скучно. Покинутость, забвение и долгая тоска встретили его в этом опасном доме гражданской войны. Неведомый одинокий человек, говоривший с комиссаром, прилег в углу на уцелевшую лавку и начал укрываться скудной одеждой. Кто он и зачем сюда попал, Александра сильно и душевно интересовало. Сколько раз он встречал – и прежде и потом – таких сторонних, неизвестных людей, живущих по своим одиноким законам, но никогда не налегала душа подойти и спросить их или пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни. Может быть, было бы лучше тогда Дванову подойти к тому человеку в шкаринском вокзале и прилечь к нему, а утром выйти и исчезнуть в воздухе степи.

– Машинист – трус, бронепоезда не было! – сказал потом Дванов комиссару.

– Черт с ним – довезет как-нибудь! – спокойно и устало ответил комиссар и, отвернувшись, пошел к своему вагону, с печалью говоря себе на ходу: «Эх, Дуня, моя Дуня, чем ты детей моих кормишь теперь?..»

Александр тоже пошел в вагон, не понимая еще, за что мучаются так люди: один лежит в пустом вокзале, другой тоскует по жене.

В вагоне Дванов лег спать, но проснулся еще до рассвета, почувствовав прохладу опасности.

Поезд стоял в мокрой степи, красноармейцы храпели и чесали во сне свои тела – слышен был наслаждающийся скрежет ногтей по закоснелой коже. Комиссар тоже спал, лицо его сморщилось – вероятно, он мучился перед сном воспоминаниями о покинутой семье, и так уснул с горем на лице. Неунявшийся ветер гнул поздние былинки в остывшей степи, и целина от вчерашнего дождя превратилась в тягучую грязь. Командир лежал против комиссара и тоже спал; его книжка была открыта на описании Рафаэля; Дванов посмотрел в страницу – там Рафаэль назывался живым богом раннего счастливого человечества, народившегося на теплых берегах Средиземного моря. Но Дванов не мог вообразить то время: дул же там ветер, и землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей.

Комиссар открыл глаза:

– Что: стоим, что ли?

– Стоим!

– Что за черт – сто верст едем сутки! – рассердился комиссар, и Дванов опять пошел с ним к паровозу.

Паровоз стоял покинутый – ни машиниста, ни помощника не было. Впереди него – в пяти саженях – лежали неумело разобранные рельсы.

Комиссар посерьезнел:

– Сами они ушли или побили их – сам черт не поймет! Как же мы теперь поедem?

– Конечно, сами ушли! – сказал Александр.

Паровоз стоял еще горячий, и Дванов решил сам, не спеша, повести состав. Комиссар согласился, дал Дванову в помощь двух красноармейцев, а другим велел собрать путь.

Часа через три эшелон тронулся. Дванов сам глядел за всем – и за топкой, и за водой, и на путь – и чего-то волновался. Большая машина шла покорно, а Дванов ее особо не гнал. Постепенно он осмелел и поехал быстрее, но строго тормозя на уклонах и закруглениях. Красноармейцам-помощникам он рассказал, в чем дело, и они довольно хорошо держали пар нужного давления.

Встретился какой-то безлюдный разъезд под названием Завалишный; около отхожего места сидел старик и ел хлеб, не поднимая глаз на поезд; разъезд Дванов проехал тихо, осмат-

ривая стрелки, и понесся дальше. Сквозь туманы выбиралось солнце и медленно грело сырую остывшую землю. Редкие птицы взлетали над пустырями и сейчас же садились над своей пищей – осыпавшимися, пропавшими зернами.

Начался затяжной прямой уклон. Дванов закрыл пар и поехал по инерции с растущей скоростью.

Чистый путь виден далеко – до самого перехода уклона в подъем, в степной впадине. Дванов успокоился и слез с сиденья, чтобы посмотреть, как работают его помощники, и поговорить с ними. Минут через пять он вернулся к окну и выглянул. Далеко завиднелся семафор – вероятно, это и будет Разгуляй; за семафором он разглядел дым паровоза, но не удивился – Разгуляй был в советских руках; про это было известно еще в Новохоперске. Там стоял какой-то штаб и держалось правильное сообщение с большой узловой станцией Лиски.

Паровозный дым на Разгуляе обратился в облако, и Дванов увидел трубу паровоза и его переднюю часть. «Вероятно, он прибыл с Лисок», – подумал Александр. Но паровоз ехал к семафору – на новохоперский эшелон. «Сейчас он остановится, заходит за стрелку», – следил Дванов за тем паровозом. Но быстрая отсечка пара из трубы показывала работу машины: паровоз с хорошей скоростью шел навстречу. Дванов высунулся весь из окна и зорко следил. Паровоз прошел семафор – он вел тяжелый товарный или воинский состав по однопутной дороге в лоб паровозу Дванова. Сейчас Дванов шел под уклон, тот паровоз – тоже под уклон, и встретиться должны в степной впадине – на разломе профиля дороги. Александр догадался, что это дело гадкое, и натянул рукоять двойной сирены; красноармейцы заметили встречный поезд и начали волноваться от испуга.

– Сейчас замедлю ход, и вы тогда прыгайте! – сказал им Дванов: все равно они были бесполезны. Вестингауз не действовал – это Александр знал еще вчера, при старом машинисте. Оставался обратный ход: контрпар. Встречный поезд тоже обнаружил новохоперский эшелон и давал непрерывный тревожный гудок. Дванов зацепил колечко свистка за вентиль, чтобы не прекращать тревожного сигнала, и начал переводить реверсивную муфту на задний ход.

Руки его охладели, и он еле осилил тугой червячный вал. Затем Дванов открыл весь пар и прислонился к котлу от вянущего утомления; он не видел, когда спрыгнули красноармейцы, но обрадовался, что их больше нет.

Эшелон медленно пополз назад, паровоз его взял с пробуксовкой, ударив водой в трубу.

Дванов хотел уйти с паровоза, но потом вспомнил, что порвал крышки у цилиндров от слишком резкого открытия контрпара. Цилиндры парили – сальники были пробиты, но крышки уцелели. Встречный паровоз приближался очень ходко: синий дым стлался от трения тормозных колодок из-под его колес, но вес поезда был слишком велик, чтобы один паровоз смог задавить его скорость. Машинист резко и торопливо давал по три свистка, прося у бригады ручных тормозов, – Дванов понимал и смотрел на все как посторонний. Его медленное размышление помогло ему в тот час – он испугался уйти со своего паровоза, потому что его бы застрелил политком или исключили бы потом из партии. Кроме того, Захар Павлович, тем более отец Дванова, никогда не оставили бы горячий целый паровоз погибать без машиниста, и это тоже помнил Александр.

Дванов схватился за подоконник, чтобы выдержать удар, и в последний раз выглянул на противника. С того поезда сыпались как попало люди, уродуясь и спасаясь; с паровоза тоже брякнулся под откос человек – машинист или помощник. Дванов посмотрел назад – на свой поезд – никто не показывался: наверное, все спали.

Александр зажмурился и боялся грома от толчка. Потом мгновенно, на оживших ногах, вылетел из будки, чтобы прыгать, и схватился за поручни сходной лесенки; только тут Дванов почувствовал свое помогающее сознание: котел обязательно взорвется от удара, и он будет разможен как враг машины. Ближе бежала под ним крепкая прочная земля, которая ждала его жизни, а через миг останется без него сиротою. Земля была недостижима и уходила, как

живая; Дванов вспомнил детское видение и детское чувство: мать уходит на базар, а он гонится за нею на непривычных, опасных ногах и верит, что мать ушла на веки веков, и плачет своими слезами.

Теплая тишина тьмы заслонила зрение Дванова.

– Дай мне еще сказать!.. – сказал Дванов и пропал в обступившей его тесноте.

Очнулся он вдалеке и один; старая сухая трава щекотала ему шею, и природа показалась очень шумной. Оба паровоза резали сиренами и предохранительными клапанами: от сотрясения у них сбились пружины. Паровоз Дванова стоял на рельсах правильно, только рама согнулась, посинев от мгновенного напряжения и нагрева. Разгуляевский паровоз перекосялся и врезался колесами в балласт. Внутри переднего вагона новохоперского поезда вошли два следующих, расклинив его стенки. Из разгуляевского состава корпуса двух вагонов были выжаты и сброшены на траву, а колесные скаты их лежали на тендере паровоза.

К Дванову подошел комиссар:

– Жив?

– Ничего. А почему это случилось?

– Черт его знает! Их машинист говорит, что тормоза у него отказали и он проскочил Разгуляй! Мы его арестовали, бродягу! А ты чего смотрел?

Дванов испугался:

– Я давал обратный ход – позови комиссию, пусть осмотрит, как стоит управление...

– Чего там комиссию! Человек сорок уложили у нас и у них – можно бы целый белый город взять с такими потерями! А тут казаки, говорят, шляются рядом – плохо нам будет!..

Вскоре с Разгуляя пришел вспомогательный поезд с рабочими и инструментами. Про Дванова все забыли, и он двинулся пешком на Лиски.

Но на его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела, лицо же медленно темнело, как будто человек заваливался в тьму, – Дванов даже обратил внимание на свет дня: действует ли он, раз человек так чернеет.

Скоро человек возрос до того, что Дванов стал бояться: он мог лопнуть и брызнуть своею жидкостью жизни, и Дванов отступил от него; но человек начал спадать и светлеть – он, наверное, уже давно умер, в нем беспокоились лишь мертвые вещества.

Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным давленным вином выходила кровь; красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и замедляющимися словами просил кровь:

– Перестань, собака, ведь я же ослабну!

Но кровь густела до ощущения ее вкуса, а затем пошла с чернотой и совсем прекратилась; красноармеец свалился навзничь и тихо сказал – с такой искренностью, когда не ждут ответа:

– Ох, и скучно мне – нету никого со мной!

Дванов близко подошел к красноармейцу, и он сознательно попросил его:

– Закрой мне зрение! – и глядел, не моргая, засыхающими глазами, без всякой дрожи век.

– А что? – спросил Александр и забеспокоился от стыда.

– Режет... – объяснил красноармеец и сжал зубы, чтобы закрыть глаза.

Но глаза не закрывались, а выгорали и выцветали, превращаясь в мутный минерал. В его умерших глазах явственно прошли отражения облачного неба, как будто природа возвратилась в человека после мешавшей ей встречной жизни и красноармеец, чтобы не мучиться, приспособился к ней смертью.

Станцию Разгуляй Дванов обошел, чтобы его не остановили там для проверки, и скрылся в безлюдье, где люди живут без помощи.

Железнодорожные будки всегда привлекали Дванова своими задумчивыми жителями, – он думал, что путевые сторожа спокойны и умны в своем уединении. Дванов заходил в путе-

вые дома пить воду, видел бедных детей, играющих не в игрушки, а одним воображением, и способен был навсегда остаться с ними, чтобы разделить участь их жизни.

Ночевал Дванов тоже в будке, но не в комнате, а в сенцах, потому что в комнате рожала женщина и всю ночь громко тосковала. Муж ее бродил без сна, шагая через Дванова, и говорил себе с удивлением: «В такое время... В такое время...»

Он боялся, что в беде революции быстро погибнет его рождающийся ребенок. Четырехлетний мальчик просыпался от громкой тревоги матери, пил воду, выходил мочиться и глядел на все как посторонний житель, – понимая, но не оправдывая. Наконец Дванов неожиданно забылся и проснулся в тусклом свете утра, когда по крыше мягко шелестел скучный долгий дождь.

Из комнаты вышел довольный хозяин и прямо сказал:

– Мальчик родился!

– Это очень хорошо, – сказал ему Александр и поднялся с подстилки. – Человек будет!

Отец рожденного обиделся:

– Да, коров будет стеречь – много нас, людей!

Дванов вышел на дождь, чтобы уходить дальше. Четырехлетний мальчик сидел в окне и мазал пальцами по стеклу, воображая что-то непохожее на свою жизнь. Александр махнул ему дважды рукой на прощанье, но он испугался и слез с окна; так Дванов его больше и не увидел и не увидит никогда.

– До свиданья! – сказал Дванов дому и месту своего ночлега и пошел на Лиски.

Через версту он встретил бодрую старушку с узелком.

– Она уже родила! – сказал ей Дванов, чтобы она не спешила.

– Родила?! – быстро удивилась старушка. – Знать, недоносок, батюшка, был – вот страсть-то! Кого ж бог послал?

– Мальчик, – довольно заявил Александр, как будто участвовал в происшествии.

– Мальчик! Непочетник родителям будет! – решила старуха. – Ох, и тяжело рожать, батюшка: хоть бы мужик один родил на свете, тогда б он в ножки жене и теще поклонился!..

Старуха сразу перешла на длинный разговор, ненужный Дванову, и он окоротил ее:

– Ну, бабушка, прощай! Мы с тобой не родим – чего нам ссориться!

– Прощай, дорогой! Помни мать свою – не будь непочетником!

Дванов обещал ей почитать родителей и обрадовал старушку своим уважением.

* * *

Долог был тот путь Александра домой. Он шел среди серой грусти облачного дня и глядел в осеннюю землю. Иногда на небе обнажалось солнце, оно прилегало своим светом к траве, песку, мертвой глине и обменивалось с ними чувствами без всякого сознания. Дванову нравилась эта безмолвная дружба солнца и поощрение светом земли.

В Лисках он влез в поезд, в котором ехали матросы и китайцы на Царицын. Матросы задержали поезд, чтобы успеть избить коменданта питательного пункта за постный суп, а после того эшелон спокойно отбыл. Китайцы поели весь рыбный суп, от какого отказались русские матросы, затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок супных ведер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: «Мы любим смерть! Мы очень ее любим!» Потом китайцы сытыми легли спать. А ночью матрос Концов, которому не спалось от думы, просунул дуло винтовки в дверной просвет и начал стрелять в попутные огни железнодорожных жилищ и сигналов; Концов боялся, что он защищает людей и умрет за них задаром, поэтому заранее приобретал себе чувство обязанности воевать за пострадавших от его руки. После стрельбы Концов сразу и удовлетворенно уснул и спал четыреста верст, когда уже Александр давно оставил вагон утром второго дня.

Дванов отворил калитку своего двора и обрадовался старому дереву, росшему у сени. Дерево было изранено, порублено, в него втыкали топор для отдыха, когда кололи дрова, но оно было еще живо и берегло зеленую страсть листвы на больных ветках.

– Пришел, Саш? – спросил Захар Павлович. – Это хорошо, что ты пришел, а то я здесь один остался. Ночью без тебя мне спать было неохота, все лежишь и слушаешь, не идешь ли ты! Я и дверь для тебя не запираю, чтобы ты сразу вошел...

Первые дни дома Александр зяб и грелся на печке, а Захар Павлович сидел внизу и, сидя, дремал.

– Саш, ты, может быть, чего-нибудь хочешь? – спрашивал время от времени Захар Павлович.

– Нет, я ничего не хочу, – отвечал Александр.

– А я думал, может, ты съел бы чего-нибудь.

Скоро Дванов уже не мог расслышать вопросов Захара Павловича и не видел, как тот плакал по ночам, уткнувшись лицом в печурку, где грелись чулки Александра. Дванов заболел тифом, который повторялся, не покидая тела больного восемь месяцев, а затем тиф перешел в воспаление легких. Александр лежал в забвении своей жизни, и лишь изредка он слышал в зимние ночи паровозные гудки и вспоминал их; иногда до равнодушного ума больного доносился гул далекой артиллерии, а потом ему опять было жарко и шумно в тесноте своего тела. В минуты сознания Дванов лежал пустой и засохший, он чувствовал только свою кожу и прижимал себя к постели, ему казалось, что он может полететь, как летят сухие, легкие трупы пауков.

Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб – прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу, – если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним.

Дванов вышел из дома новым летом; воздух он ощутил тяжелым, как воду, солнце – шумящим от горения огня и весь мир свежим, едким, опьяняющим для его слабости. Жизнь снова заблестела перед Двановым – он напрягался телом, и мысль его всходила фантазией.

Через забор на Александра глядела знакомая девочка – Соня Мандрова, она не понимала, отчего Саша не умер, раз был гроб.

– Ты не умер? – спросила она.

– Нет, – сказал ей Александр. – А ты тоже жива?

– Я тоже жива. Мы с тобой будем вместе жить. Тебе хорошо теперь?

– Хорошо. А тебе?

– Мне тоже хорошо. А отчего ты такой худой? Это в тебе смерть была, а ты ее не пустил?

– А ты хотела, чтобы я умер? – спросил Александр.

– А я не знаю, – ответила Соня. – Я видела, что людей много, они умирают, а остаются.

Дванов позвал ее к себе на двор; босая Соня перелезла через забор и притронулась к Александру, позабыв его за зиму. Дванов ей рассказал, что он видел в своих снах во время болезни и как ему было скучно в темноте сна: нигде не было людей, и он узнал теперь, что их мало на свете; когда он шел по полю близ войны, то ему тоже редко попадались дома.

– Я тебе нечаянно говорила, что не знаю, – сказала Соня. – Если б ты умер, я бы долго заплакала. Пускай бы ты уехал далеко, но я думала бы зато, что ты живешь целый...

Александр посмотрел на нее с удивлением. Соня уже выросла за этот год, хотя и ела мало; ее волосы потемнели, тело приобрело осторожность, и при ней становилось стыдно.

– Ты еще не знаешь, Саш, я теперь учусь на курсах!..

– А чему там учат?

– Всему, чего мы не знаем. Там один учитель говорит, что мы вонючее тесто, а он из нас сделает сладкий пирог. Пусть говорит, зато мы политике от него научимся, ведь правда?

– Разве ты вонючее тесто?

– Ага. А потом не буду и другие не будут, потому что я стану учительницей детей и они начнут с малолетства уметь. Тогда их не будут обижать вонючим тестом.

Дванов потрогал ее за одну руку, чтобы вновь привыкнуть к ней, а Соня дала ему и вторую руку.

– Ты так лучше поздоровееешь, – сказала она. – Ты холодный, а я горячая. Ты чувствуешь?

– Соня, ты приходи вечером к нам, – произнес Александр. – А то мне надоело одному.

Соня вечером пришла, и Саша ей рисовал, а она ему указывала, как надо рисовать лучше. Захар Павлович потихоньку вынес гроб и расколол его на топку. «Теперь надо детскую качалку сделать, – думал он. – Где бы это рессорного железа достать помягче!.. У нас ведь нету – у нас есть для паровозов. Может, у Саши будут ребятишки от Сони, а я их буду беречь. Соня скоро подрастет – и пусть существует, она тоже сиротка».

После того как Соня ушла, Дванов из боязни сразу лег спать до утра, чтобы увидеть новый день и не запомнить ночи. Однако он лежал и видел ночь открытыми глазами; окрепшая, взволнованная жизнь не хотела забываться в нем. Дванов представил себе тьму над тундрой, и люди, изгнанные с теплых мест земного шара, пришли туда жить. Те люди сделали маленькую железную дорогу, чтобы возить лес на устройство жилищ, заменяющих потерянный летний климат. Дванов вообразил себя машинистом той лесовозной дороги, которая возит бревна на постройку новых городов, и он мысленно проделывал всю работу машиниста – проезжал безлюдные перегоны, брал воду на станциях, свистел среди пурги, тормозил, разговаривал с помощником и, наконец, заснул у станции назначения, что была на берегу Ледовитого океана. Во сне он увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы, кругом их было воздушное, еле колеблющееся пространство и вдаль терпеливо уходила пустая дорога. Дванов завидовал всему этому – он хотел бы деревья, воздух и дорогу забрать и вместить в себя, чтобы не успеть умереть под их защитой. И еще что-то хотел вспомнить Дванов, но это усилие было тяжелее воспоминания, и его мысль исчезла от поворота сознания во сне, как птица с тронувшегося колеса.

* * *

Ночью поднялся ветер и остудил весь город. Во многих домах начался холод, а дети спасались от него тем, что грелись у горячих тел тифозных матерей. У жены предгубисполкома Шумилина тоже был тиф, и двое детей прижались к ней с обеих сторон, чтобы спать в тепле; сам же Шумилин жег примус на столе для освещения, потому что лампы не имелось, а электричество погасло, и чертил ветряной двигатель, который будет тянуть за веревку плуг и пахать землю под хлеб. В губернии наступило безлошадье, и невозможно было ждать, пока народится и войдет в тяговую силу лошадиный молодец, – стало быть, нужно искать научный выход.

Закончив чертеж, Шумилин лег на диван и сжался под пальто, чтобы соответствовать общей скудости советской страны, не имевшей необходимых вещей, и смирно заснул.

Утром Шумилин догадался, что, наверное, массы в губернии уже что-нибудь придумали, может, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды. Жена глядела на мужа белыми, выгоревшими от тифа глазами, и Шумилин вновь спрятался под пальто. «Надо, – шептал он себе для успокоения, – надо поскорее начинать социализм, а то она умрет».

Дети тоже проснулись, но не вставали с теплоты постели и старались опять заснуть, чтобы не хотеть есть.

Тихо собравшись, Шумилин пошел служить; жене он обещал быть дома поскорей, но он это обещал ежедневно, а являлся всегда в ночное время.

Мимо губисполкома шли люди, их одежда была в глине, точно они жили в лощинных деревнях, а теперь двигались вдаль не очистившись.

– Вы куда? – спросил этих бредущих Шумилин.

– Мы-то? – произнес один старик, начавший от безнадежности жизни уменьшаться в росте. – Мы куда попало идем, где нас окоротят. Поверни нас, мы назад пойдем.

– Тогда идите лучше вперед, – сказал им Шумилин.

В кабинете он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается, стало быть, оттого люди в несчастьи стараются двигаться. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа. Из окна губисполкома были видны босые, несеяные поля; иногда там показывался одинокий человек и пристально всматривался в город, опершись подбородком на дорожную палку, а потом уходил куда-то в балку, где он жил в сумерках своей хаты и на что-то надеялся.

Шумилин сказал по телефону секретарю губкома о своем беспокойстве: по полям и по городу ходят люди, чего-то они думают и хотят, а мы ими руководим из комнаты; не пора ли послать в губернию этичного, научного парня, пусть он поглядит – нет ли там социалистических элементов жизни: ведь массы тоже своего желают, может, они как-нибудь самодельно живут, тем более что к помощи они еще не привыкли; надо найти точку посередине нужды и по ней сразу ударить – нам же некогда!

– Что ж, пошли! – согласился секретарь. – Я тебе такого подыщу, а ты его снабди указаниями.

– Давай его сегодня же, – попросил Шумилин. – Командируй его ко мне домой.

Секретарь дал распоряжение вниз по своему учреждению и забыл о дальнейшем. Конторщик орготдела не мог уже спустить приказ секретаря в глубину губкомовского аппарата и начал размышлять сам: кого бы это послать осматривать губернию? Никого не было – все коммунисты уже действовали; числился лишь какой-то Дванов, вызванный из Новохоперска для ремонта городского водопровода, но к его личному делу был подложен документ о болезни. «Если он не умер, то пошлю его», – решил конторщик и пошел сообщать секретарю губкома о Дванове.

– Он не выдающийся член партии, – сказал конторщик. – У нас выдаваться не на чем было. Вот будут большие дела, и люди на них проявятся, товарищ секретарь.

– Ладно, – ответил секретарь. – Пусть ребята дело выдумывают и растут на нем.

Вечером Дванов получил бумагу: немедленно явиться к предгубисполкома, чтобы побеседовать о намечающемся самозарождении социализма среди масс. Дванов встал и пошел на отвыкших ногах; Соня возвращалась со своих курсов с тетрадкой и лопухом; лопух она сорвала за то, что у него была белая исподняя кожа, по ночам его зачесывал ветер и освещала луна. Соня смотрела из окна на этот лопух, когда ей не спалось от молодости, а теперь зашла на пустошь и сорвала его. Дома она уже имела много растений, и больше всего среди них было бессмертников, что росли на солдатских могилах.

– Саша, – сказала Соня. – Нас скоро повезут в деревни – учить детство грамоте, а я хочу служить в цветочном магазине.

Александр на это ей ответил:

– Цветы и так любят почти все, а чужих детей редко кто, только родители.

Соня не могла сообразить, она была еще полна ощущений жизни, мешавших ей правильно думать. И она отошла от Александра в обиду.

Где жил Шумилин, Дванов точно не знал. Сначала он вошел на двор того приблизительного дома, где должен был жить Шумилин. На дворе стояла хата, и в ней находился дворник;

уже смеркалось, дворник лег спать с женой на полати, на чистой скатерти был оставлен хлеб для нечаянного гостя. Дванов вошел в хату, как в деревню, – там пахло соломой и молоком, тою хозяйственной сытой теплотой, в которой произошло зачатие всего русского сельского народа, и дворник-хозяин, должно быть, шептался с женой о своих дворовых заботах.

Дворник числился тогда санитаром двора, чтобы не унижать его достоинства; на просьбу Дванова указать Шумилина санитар надел валенки и накинул на белье шинель:

– Пойду постужусь для казны, а ты, Поля, не спи пока.

Шумилин в то время кормил больную жену мятой картошкой с блюдечка, женщина слабо жевала пищу и жалела одной рукой приютившегося у ее тела трехлетнего сына.

Дванов сказал, что ему надо.

– погоди, я жену докормлю, – попросил Шумилин и, докормив, указал: – Вот сам видишь, товарищ Дванов, что нам нужно: днем я служу, а вечером бабу с руки кормлю. Нам необходимо как-нибудь иначе научиться жить...

– Так – тоже ничего, – ответил Дванов. – Когда я болел и Захар Павлович кормил меня из рук, я это любил.

– Чего ты любил? – не понял Шумилин.

– Когда люди питаются из рук в рот.

– Ага, ну люби, – не почувствовав, сказал Шумилин, и дальше он захотел, чтобы Дванов пошел пешком по губернии и оглядел, как там люди живут; наверное, беднота уже скопилась сама по себе и устроилась по-социальному. – Мы здесь служим, – огорченно высказывался Шумилин, – а массы живут. Я боюсь, товарищ Дванов, что там коммунизм скорее очутится – им защиты, кроме товарищества, нет. Ты бы пошел и глянул туда.

Дванов вспомнил различных людей, бродивших по полям и спавших в пустых помещениях фронта; может быть, и на самом деле те люди скопились где-нибудь в овраге, скрытом от ветра и государства, и живут, довольные своей дружбой. Дванов согласился искать коммунизм среди самодеятельности населения.

– Соня, – сказал он утром на другой день. – Я ухожу, до свидания!

Девушка влезла на забор, она умывалась на дворе.

– А я уезжаю, Саш. Меня опять Клуша гонит. Лучше буду в деревне жить сама.

Дванов знал, что Соня жила у знакомой тетки Клуши, а родителей у нее не было. Но куда же она едет в деревню одна? Оказалось, Соню с подругами выпускали с курсов досрочно, потому что в деревне собирались банды из неграмотных людей и туда посылались учительницы наравне с отрядами Красной Армии.

– Мы с тобой увидимся теперь после революции, – произнес Дванов.

– Мы увидимся, – подтвердила Соня. – Поцелуй меня в щеку, а я тебя в лоб – я видела, что так люди всегда прощаются, а мне не с кем попрощаться.

Дванов тронул губами ее щеку и сам почувствовал сухой венчик Сониных уст на своем лбу; Соня отвернулась и гладила забор мучившейся неуверенной рукой.

Дванов захотел помочь Соне, но только нагнулся к ней и ощутил запах увядшей травы, исходивший от ее волос. Здесь девушка обернулась и снова ожила.

Захар Павлович стоял на пороге с железным недоделанным чемоданом и не моргал, чтобы не накапливать слез.

* * *

Дванов шел по губернии, по дорогам уездов и волостей. Он держался ближе к поселениям, поэтому ему приходилось идти по долинам речек и по балкам. Выходя на водоразделы, Дванов уже не видел ни одной деревни, нигде не шел дым из печной трубы и редко возделы-

вался хлеб на этой степной высоте; здесь росла чуждая трава, и сплошной бурьян давал приют и пищу птицам и насекомым.

С водоразделов Россия казалась Дванову ненаселенной, но зато в глубинах лощин и на берегах маловодных протоков всюду жили деревни, – было видно, что люди селились по следам воды, они существовали невольниками водоемов. Сначала Дванов ничего не увидел в губернии, она ему показалась вся одинаковой, как видение скудного воображения; но в один вечер он не имел ночлега и нашел его только в теплом бурьяне на высоте водораздела.

Дванов лег и покопал пальцами почву под собой: земля оказалась вполне тучной, однако ее не пахали, и Александр подумал, что тут безлошадье, а сам уснул. На заре он проснулся от тяжести другого тела и вынул револьвер.

– Не пугайся, – сказал ему привалившийся человек. – Я озяб во сне, вижу, ты лежишь, – давай теперь обхватимся для тепла и будем спать.

Дванов обхватил его, и оба согрелись. Утром, не выпуская человека, Александр спросил его шепотом:

– Отчего тут не пашут? Ведь земля здесь черная! Лошадей, что ль, нету?

– Погоди, – ответил хриповатым, махорочным голосом пригревшийся пешеход. – Я бы сказал тебе, да у меня ум без хлеба не обращается. Раньше были люди, а теперь стали рты. Понял ты мое слово?

– Нет, а чего? – потерялся Дванов. – Всю ночь грелся со мной, а сейчас обижаешься!..

Пешеход встал на ноги.

– Вчера же был вечер, субъект-человек! А горе человека идет по ходу солнца; вечером оно садится в него, а утром выходит оттуда. Ведь я вечером стыл, а не утром.

У Дванова было среди карманного сора немного хлебной мякоти.

– Поешь, – отдал он хлеб, – пусть твой ум обращается в живот, а я без тебя узнаю, чего хочу.

В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев.

– Пускай сажаются, – согласился председатель Совета. – Все одно им конец там будет, там питья нету, и она дальняя. Мы и сами той земли почти сроду не касались... А была б там вода, так мы б из себя дали высосать, а ту залежь с довольством содержали...

Нынче Дванов шел еще более в даль губернии и не знал, где остановиться. Он думал о времени, когда заблестит вода на сухих, возвышенных водоразделах; то будет социализмом.

Вскоре перед ним открылась узкая долина какой-то древней, давно осохшей реки. Долину занимала слобода Петропавловка – огромное стадо жадных дворов, сбившихся на тесном водопое.

На улице Петропавловки Дванов увидел валуны, занесенные сюда когда-то ледниками. Валунные камни теперь лежали у хат и служили сиденьем для стариков.

Эти камни Дванов вспомнил уже после, когда сидел в Петропавловском сельсовете. Он зашел туда, чтобы ему дали ночлег на приближающуюся ночь и чтобы написать письмо Шумилину. Дванов не знал, как начинаются письма, и сообщал Шумилину, что творить у природы нет особого дара, она берет терпением: из Финляндии через равнины и тоскливую долготу времени в Петропавловку приполз валун на языке ледника. Из редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь, чтобы основать в ней обновленную жизнь. Это ближе, чем притащить валун из Финляндии.

Пока Дванов писал, около его стола чего-то дожидался крестьянин со своенравным лицом и психической, самодельно подстриженной бородкой.

– Все стараетесь! – сказал этот человек, уверенный во всеобщем заблуждении.

– Стараемся! – понял его Дванов. – Надо же вас на чистую воду в степь выводить!

Крестьянин сладострастно почесал бородку.

– Ишь ты какой! Стало быть, теперь самые умные люди явились! А то без вас не догадались бы, как сытно харчиться!

– Нет, не догадались бы! – равнодушно вздохнул Дванов.

– Эй, мешаный, уходи отсюда! – крикнул председатель Совета с другого стола. – Ты же бог, чего ты с нами знаешься!

Оказывается, этот человек считал себя богом и все знал. По своему убеждению он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость – надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрет, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали.

Когда секретарь Совета повел Дванова на постой, то бог стоял на пороге и зяб.

– Бог, – сказал секретарь, – доведи товарища до Кузи Поганкина, скажи, что из Совета – ихняя очередь!

Дванов пошел с богом.

Встретился нестарый мужик и сказал богу:

– Здравствуй, Никанорыч, – тебе б пора Лениным стать, будя богом-то!

Но бог стерпел и не ответил на приветствие. Только когда отошли подальше, бог вздохнул:

– Ну и держава!

– Что, – спросил Дванов, – бога не держит?

– Нет, – просто сознался бог. – Очами видят, руками щупают, а не верят. А солнце признают, хоть и не доставали его лично. Пушай тоскуют до корней, покуда кора не заголится.

У хаты Поганкина бог оставил Дванова и без прощания повернулся назад.

Дванов не отпустил его:

– Постой, что ж ты теперь думаешь делать?

Бог сумрачно глянул в деревенское пространство, где он был одиноким человеком.

– Вот объявлю в одну ночь отъем земли, тогда с испугу и поверят.

Бог духовно сосредоточился и молчал минуту.

– А в другую ночь раздам обратно – и большевистская слава по чину будет моей.

Дванов проводил бога глазами без всякого осуждения. Бог уходил, не выбирая дороги, – без шапки, в одном пиджаке и босой; пищей его была глина, а надеждой – мечта.

Поганкин встретил Дванова неласково – он скучал от бедности. Дети его за годы голода постарели и, как большие, думали только о добыче хлеба. Две девочки походили уже на баб: они носили длинные материны юбки, кофты, имели шпильки в волосах и сплетничали. Странно было видеть маленьких умных озабоченных женщин, действующих вполне целесообразно, но еще не имеющих чувства размножения. Это упущение делало девочек в глазах Дванова какими-то тягостными, стыдными существами.

Когда смерклось, двенадцатилетняя Варя умело сварила похлебку из картофельных шкурок и ложки пшена.

– Папашка, слезай ужинать! – позвала Варя. – Мамка, кликни ребят на дворе: чего они стынут там, шуты синие!

Дванов застеснялся: что из этой Вари дальше будет?

– А ты отвернись, – обратилась Варя к Дванову. – На всех вас не наготовишься: своих куча!

Варя подоткнула волосы иправила кофту и юбку, как будто под ними было что неприличное.

Пришли два мальчика – сопливые, привыкшие к голоду и все-таки счастливые от детства. Они не знали, что происходит революция, и считали картофельные шкурки вечной едой.

– Я вам скоко раз наказывала раньше приходить! – закричала Варя на братьев. – У, идолы кромешные! Сейчас же снимайте одежду – негде ее брать!

Мальчики скинули свои ветхие овчинки, но под овчинками не было ни штанов, ни рубашек. Тогда они голые залезли на лавку у стола и сели на корточки. Наверное, к такому сбережению одежды дети были приучены сестрой. Варя собрала овчинные гуни в одно место и начала раздавать ложки.

– За папашкой следите – чаще не хватайте! – приказала Варя братьям порядок еды, а сама села в уголок и подперла щеку ладошей: ведь хозяйки едят после.

Мальчики зорко наблюдали за отцом: как он вынет ложку из чашки, так они враз совались туда и моментально глотали похлебку. Потом опять дежурили с пустыми ложками, ожидая отца.

– Я вас, я вас! – грозила Варя, когда ее братья норовили залезть ложками в чашку одновременно с отцом.

– Варька, отец гушу одну таскает – не вели ему! – сказал один мальчик, приученный сестрой к твердой справедливости.

Сам Поганкин тоже побаивался Варю, потому что стал таскать ложки пожиже.

За окном, на небе, непохожем на землю, зрели влекущие звезды. Дванов нашел Полярную звезду и подумал, сколько времени ей приходится терпеть свое существование; ему тоже надо еще долго терпеть.

– Завтра либо бандиты опять поскачут! – жуя, сказал Поганкин и хлопнул ложкой по лбу одного мальчика: тот вытащил сразу кусок картошки.

– Отчего бандиты? – хотел узнать Дванов.

– На дворе вызвездило – дорога поусадистей пойдет! У нас тут как грязь – так мир, как дорога провянет – так война начинается!

Поганкин положил ложку и хотел рыгнуть, но у него не вышло.

– Теперча хватай! – разрешил он детям. Те полезли на захват остатков в чашке.

– От такого довольствия цельный год не икаю! – серьезно сообщил Дванову Поганкин. – А бывало, пообедаешь, так до самой вечерни от икоты родителей поминаешь! Вкус был!

Дванов укладывался, чтобы уснуть и поскорее достигнуть завтрашнего дня. Завтра он пойдет к железной дороге, чтобы возвратиться домой.

– Наверно, скучно вам живется? – спросил Дванов, уже успокаиваясь для сна.

Поганкин согласился:

– Да то, ништ, весело! В деревне везде скучно. Оттого и народ-то лишний плодится, что скучно. Ништ, стал бы каждый женщину мучить, ежели б другое занятие было?

– А вы бы переселялись на верхние жирные земли! – догадался Дванов. – Там можно жить с достатком, от этого веселей будет.

Поганкин задумался.

– Куда там – разве стронешься с таким карогодом?.. Ребята, идите отпузырьтесь на ночь...

– А чего же? – испытывал Дванов. – А то у вас отнимут ту землю обратно.

– Это как же? Аль распоряженье вышло?

– Вышло, – сказал Дванов. – Что ж зря пропадает лучшая земля? Целая революция шла из-за земли, вам ее дали, а она почти не рожает. Теперь ее пришлым поселенцам будут отдавать – те верхом на нее сядут... Нароят колодцев, заведут на суходолах хутора – земля и разродится. А вы только в гости ездите в степь...

Поганкин весь озаботился, Дванов нашел его страх.

– Земля-то там уж дюже хороша! – позавидовал Поганкин своей собственности. – Что хошь родит. Ньюжли советская власть по усердию судит?

– Конечно, – улыбался Дванов в темноте. – Ведь поселенцы придут, такие же крестьяне. Но раз они лучше владеют землей, то им ее и отдадут. Советская власть урожай любит.

– Это-то хоть верно, – загорюнился Поганкин. – Ей тогда удобней разверсткой крыть!

– Разверстку скоро запретят, – выдумывал Дванов. – Как война догорит, так ее и не будет.

– Да мужики тоже так говорят, – соглашался Поганкин. – Ай кто стерпит муку такую нестерпимую! Ни в одной державе так не полагается... Либо правда в степь-то уйти полезней?

– Уходи, конечно, – налегал Дванов. – Набери хозяев десять и трогайся...

После Поганкин долго разговаривал с Варей и с болящей женой о переселении – Дванов им дал целую душевную мечту.

Утром Дванов ел в сельсовете пшеничную кашу и снова видел бога. Бог отказался от каши. «Что мне делать с нею, – сказал он, – если съем, то навсегда все равно не наемся».

В подводе Совет Дванову отказал, и бог указал ему дорогу на слободу Каверино, откуда до железной дороги двадцать верст.

– Попомни меня, – сказал бог и опечалился взором. – Вот мы навсегда расходимся, и как это грустно – никто не поймет. Из двух человек остается по одному! Но упомни, что один человек растет от дружбы другого, а я расту из одной глины своей души.

– Поэтому ты есть бог? – спросил Дванов.

Бог печально смотрел на него, как на не верующего в факт.

Дванов заключил, что этот бог умен, только живет наоборот; но русский – это человек двухстороннего действия: он может жить и так и обратно и в обоих случаях остается цел.

* * *

Затем настал долгий дождь, и Дванов вышел на нагорную дорогу лишь под вечер. Ниже лежала сумрачная долина тихой степной реки. Но видно, что река умирала: ее пересыпали овражные выносы, и она не столько текла продольно, сколько ширилась болотами. Над болотами стояла уже ночная тоска. Рыбы спустились ко дну, птицы улетели в глушь гнезд, насекомые замерли в щелях омертвелой осоки. Живые твари любили тепло и раздражающий свет солнца, их торжественный звон сжался в низких норах и замедлился в шепот.

Но Дванову слышались в воздухе невнятные строфы дневной песни, и он хотел в них возвратить слова. Он знал волнение повторенной, умноженной на окружающее сочувствие жизни. Но строфы песни рассеивались и рвались слабым ветром в пространстве, смешивались с сумрачными силами природы и становились беззвучными, как глина. Он слышал движение, непохожее на его чувство сознания.

В этом затухающем, наклонившемся мире Дванов разговорился сам с собой. Он любил беседовать один в открытых местах, но, если бы его кто услышал, Дванов застыдился бы как любовник, захваченный в темноте любви со своей любимой. Лишь слова обращают текущее чувство в мысль, поэтому размышляющий человек беседует. Но беседовать самому с собой – это искусство, беседовать с другими людьми – забава.

– Оттого человек идет в общество, в забаву, как вода по склону, – закончил Дванов.

Он сделал головою полукруг и оглядел половину видимого мира. И вновь заговорил, чтобы думать:

– Природа все-таки деловое событие. Эти воспетые пригорки и ручейки не только полевая поэзия. Ими можно поить почву, коров и людей. Они станут доходными, и это лучше. Из земли и воды кормятся люди, а с ними мне придется жить.

Дальше Дванов начал уставать и шел, ощущая скуку внутри всего тела. Скука утомления сушила его внутренности, трение тела совершалось ту же – без влаги мысленной фантазии.

В виду дымов села Каверино дорога пошла над оврагом. В овраге воздух сгустился в тьму. Там существовали какие-то мочливые трясины и, быть может, ютились странные люди, отошедшие от разнообразия жизни для однообразия задумчивости.

Бог слободы Петропавловки имел себе живые подобию в этих весях губернии.

Из глубины оврага слышалось сопенье усталых лошадей. Ехали какие-то люди, и кони их вязли в глине.

Молодой отважный голос запел впереди конного отряда, но слова и напев песни были родом издали отсюда.

Есть в далекой стране,
На другом берегу,
Что нам снится во сне,
Но досталось врагу...

Шаг коней выправился. Отряд хором перекрыл переднего певца по-своему и другим напевом:

Кройся, яблочко,
Спелым золотом,
Тебя срежет Совет
Серпом-молотом...

Одинокий певец продолжал в разлад с отрядом:

Вот мой меч и душа,
А там счастье мое...

Отряд покрыл припевом конец куплета:

Эх, яблочко,
Задушевное,
Ты в паек попадешь –
Будешь прелое...
Ты на дереве растешь
И дереву кстати,
А в Совет попадешь
С номером-печатью...

Люди враз засвистали и кончили песню напропалую:

Их, яблочко,
Ты держи свободу:
Ни Советам, ни царям,
А всему народу...

Песня стихла. Дванов остановился, интересуясь шествием в овраге.

– Эй, верхний человек! – крикнули Дванову из отряда. – Слазь к безначальному народу! Дванов остался на месте.

– Ходи быстро! – звучно сказал один густым голосом, вероятно, тот, что запевал. – А то считай до половины – и садись на мушку!

Дванов подумал, что Соня едва ли уцелеет в такой жизни, и решил не хранить себя:

– Выезжайте сами сюда – тут суше! Чего лошадей по оврагу морите, кулацкая гвардия!

Отряд внизу остановился.

– Никиток, делай его насквозь! – приказал густой голос.

Никиток приложил винтовку, но сначала, за счет бога, разрядил свой угнетенный дух:

– По мошонке Иисуса Христа, по ребру богородицы и по всему христианскому поколению – пли!

Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки оврага на дно, как будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и слышал страшный шум в населенном веществе земли, прикладываясь к нему поочередно ушами катящейся головы. Дванов знал, что он ранен в правую ногу, – туда впиалась железная птица и шевелилась колкими остьями крыльев.

В овраге Дванов схватил теплую ногу лошади, и ему стало не страшно у этой ноги. Нога тихо дрожала от усталости и пахла потом, травой дорог и тишиной жизни.

– Страхуй его, Никиток, от огня жизни! Одежда твоя.

Дванов услышал. Он сжал ногу коня обеими руками, нога превратилась в благоухающее живое тело той, которой он не знал и не узнает, но сейчас она стала ему нечаянно нужна. Дванов понял тайну волос, сердце его поднялось к горлу, он вскрикнул в забвении своего освобождения и сразу почувствовал облегчающий удовлетворенный покой. Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был рожден в беспамятстве матери: семя размножения, чтобы новые люди стали семейством. Шло предсмертное время – и в наваждении Дванов глубоко возобладали Соней. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом.

Подошел Никиток и попробовал Дванова за лоб: тепел ли он еще? Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающуюся ладонь. Но Дванов знал, что проверял Никиток, и помог ему:

– Бей в голову, Никита. Расклинивай череп скорей!

Никита не был похож на свою руку – это уловил Дванов, – он закричал тонким паршивым голосом, без соответствия покою жизни, хранившемуся в его руке:

– Ай ты цел? Я тебя не расклиню, а разошью: зачем тебе сразу помирать, – ай ты не человек? – помучайся, полежи – спрехвала помрешь прочней!

Подошли ноги лошади вождя. Густой голос резко осадил Никитка:

– Если ты, сволочь, будешь еще издеваться над человеком, я тебя самого в могилу вошью.

Сказано – кончай, одежда твоя. Сколько раз я тебе говорил, что отряд не банда, а анархия!

– Мать жизни, свободы и порядка! – сказал лежащий Дванов. – Как ваша фамилия?

Вождь засмеялся:

– А тебе сейчас не все равно? Мрачинский!

Дванов забыл про смерть. Он читал «Приключения современного Агасфера» Мрачинского. Не этот ли всадник сочинил ту книгу?

– Вы писатель! Я читал вашу книгу. Мне все равно, только книга ваша мне нравилась.

– Да пусть он сам обнажается! Что я с дохлым буду возиться – его тогда не повернешь! – соскучился ждать Никита. – Одежда на нем в талию, всю порвешь, и прибывка не останется.

Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого действительно без порчи платья не разденешь. Правая нога заостенела и не слушалась поворотов, но болеть перестала. Никита заметил и товарищески помогал.

– Тут, что ль, я тебя тронул? – спросил Никита, бережно взяв ногу.

– Тут, – сказал Дванов.

– Ну, ничего – кость цела, а рану салом затянет, ты парень не старый. Родители-то у тебя останутся?

– Останутся, – ответил Дванов.

– Пушай остаются, – говорил Никита. – Поскучают и забудут. Родителям только теперь и поскучаться! Ты коммунист, что ль?

– Коммунист.

– Дело твое: всякому царства хочется!

Вождь молча наблюдал. Остальные анархисты опраивали коней и закуривали, не обращая внимания на Дванова и Никиту. Последний сумеречный свет погас над оврагом – наступила очередная ночь. Дванов жалел, что теперь не повторится видение Сони, а об остальной жизни не вспоминал.

– Так вам понравилась моя книга? – спросил вождь.

Дванов был уже без плаща и без штанов. Никита сразу же их клал в свой мешок.

– Я уже сказал, что да, – подтвердил Дванов и посмотрел на преющую рану на ноге.

– А сами-то вы сочувствуете идее книги? Вы помните ее? – допытывался вождь. – Там есть человек, живущий один на самой черте горизонта.

– Нет, – заявил Дванов. – Идею там я забыл, но зато она выдумана интересно. Так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и вышло для чтения хорошо.

Вождь от внимательного удивления поднялся на седле:

– Это любопытно... Никиток, мы возьмем коммуниста до Лиманного хутора, там его получишь сполна.

– А одежда? – огорчился Никита.

Помирился Дванов с Никитой на том, что согласился доживать голым. Вождь не возражал и ограничился указанием Никите:

– Смотри не испортить мне его на ветру! Это большевистский интеллигент – редкий тип.

Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался идти на одной левой ноге. Правая нога сама не болела, но если наступить ею, то она снова чувствует выстрел и железные остья внутри.

Овраг шел внутрь степи, суживался и поднимался. Тянуло ночным ветром, голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело.

Никита хозяйственно перебирал белье Дванова на седле.

– Обмочился, дьявол! – сказал без злобы Никита. – Смотрю я на вас: прямо как дети малые! Ни одного у меня чистого не было: все моментально гадят, хоть в сортир их сначала посылай... Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок, прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Специальный был мужик!

Дванов представил себе этого специального большевика и сказал Никите:

– Скоро и вас расстреливать будут – со всем, с одеждой и бельем. Мы с покойников не одеваемся.

Никита не обиделся:

– А ты скачи, скачи знай! Балакать тебе время не пришло. Я, брат, подштанников не попорчу, из меня не высосешь.

– Я глядеть не буду, – успокоил Дванов Никиту. – А замечу, так не осужу.

– Да и я не осуждаю, – смирился Никита. – Дело житейское. Мне товар дорог.

До Лиманного хутора добрались часа через два. Пока анархисты ходили говорить с хозяевами, Дванов дрожал на ветру и прикладывался грудью к лошади, чтобы согреться. Потом стали разводиться лошадей, а Дванова забыли одного. Никита, уводя лошадь, сказал ему:

– Девайся куда сам знаешь. На одной ноге не ускачешь.

Дванов подумал скрыться, но сел на землю от немоги в теле и заплакал в деревенской тьме. Хутор совсем затих, бандиты расселились и легли спать. Дванов дополз до сарая и залез там в просыпанную солому. Всю ночь он видел сны, которые переживаешь глубже жизни и поэтому не запоминаешь. Проснулся он в тишине долгой устоявшейся ночи, когда, по легенде, дети

растут. В глазах Дванова стояли слезы от плача во сне. Он вспомнил, что сегодня умрет, и обнял солому, как живое тело.

С этим утешением он снова уснул. Никита утром еле нашел его и сначала решил, что он мертв, потому что Дванов спал с неподвижной сплошной улыбкой. Но это казалось оттого, что неулыбающиеся глаза Дванова были закрыты. Никита смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется: что-нибудь в нем всегда остается печальным, либо глаза, либо рот.

* * *

Соня Мандрова приехала на подводе в деревню Волошино и стала жить в школе учительницей. Ее звали так же принимать рождающихся детей, сидеть на посиделках, лечить раны, и она делала это, как умела, не обижая никого. В ней все нуждались в этой небольшой приовражной деревне, а Соня чувствовала себя важной и счастливой от утешения горя и болезней населения. Но по ночам она оставалась и ждала письмо от Дванова. Она дала свой адрес Захару Павловичу и всем знакомым, чтобы те не забыли написать Саше, где она живет. Захар Павлович обещал так сделать и подарил ей фотографию Дванова:

– Все равно, – сказал он, – ты карточку назад ко мне принесешь, когда его супругой станешь и будешь жить со мной.

– Принесу, – говорила ему Соня.

Она глядела на небо из окна школы и видела звезды над тишиной ночи. Там было такое безмолвие, что в степи, казалось, находилась одна пустота и не хватало воздуха для дыхания; поэтому падали звезды вниз. Соня думала о письме, – сумеют ли его безопасно провезти по полям; письмо обратилось для нее в питающую идею жизни; что бы ни делала Соня, она верила, что письмо где-то идет к ней, оно в скрытом виде хранит для нее одной необходимость дальнейшего существования и веселой надежды, – и с тем большей бережливостью и усердием Соня трудилась ради уменьшения несчастья деревенских людей. Она знала, что в письме все это окупится.

Но письма тогда читали посторонние люди. Двановское письмо Шумилину прочитано было еще в Петропавловке. Первым читал почтарь, затем все его знакомые, интересующиеся чтением: учитель, дьякон, вдова лавочника, сын псаломщика и еще кое-кто. Библиотеки тогда не работали, книг не продавали, а люди были несчастны и требовали душевного утешения. Поэтому хата почтаря стала библиотекой. Особо интересные письма адресату совсем не шли, а оставлялись для перечитывания и постоянного удовольствия.

Казенные пакеты почтарь сразу откладывал – все вперед знали их смысл. Больше всего читатели поучались письмами, проходившими через Петропавловку транзитом: неизвестные люди писали печально и интересно.

Прочитанные письма почтарь заклеивал патокой и отправлял дальше по маршруту.

Соня еще не знала этого, иначе бы она пошла пешком сквозь все деревенские почты. Сквозь угловую печь она слышала храпящий сон сторожа, который служил в школе не за жалование, а ради вечности имущества. Он хотел бы, чтобы школу не посещали дети: они корябают столы и мажут стены. Сторож предвидел, что без его забот учительница умрет, а школа растащится мужиками для дворовых нужд. Соне было легче спать, когда она слышала живущего недалеко человека, и она осторожно, обтирая ноги о постилку, ложилась в свою белеющую холодом постель. Где-то, обращая пастью в тьму степи, брехали верные собаки.

Соня свернулась, чтобы чувствовать свое тело и греться им, и начала засыпать. Ее темные волосы таинственно распустились по подушке, а рот открылся от внимания к сновидению. Она видела, как вырастали черные раны на ее теле, и, проснувшись, она быстро и без памяти проверила тело рукой.

В дверь школы грубо стучала палка. Сторож уже стронулся со своего сонного места и возился со щеколдой и задвижкой в сенях. Он ругал беспокойного человека снаружи:

– Чего ты кнутовищем-то содишь? Тут женщина отдыхает, а доска дюймовая! Ну, чего тебе?

– А что здесь находится? – спросил снаружи спокойный голос.

– Здесь – училище, – ответил сторож. – А ты думал – постоянный двор?

– Значит, здесь одна учительница живет?

– А где же ей по должности надо находиться? – удивлялся сторож. – И зачем она тебе? Разве я тебя допущу до нее? Охальник какой!

– Покажи нам ее...

– Ежели они захочут – так поглядишь.

– Пусти – кто там? – крикнула Соня и выбежала из своей комнаты в сени.

Двое сошли с коней – Мрачинский и Дванов.

Соня отступилась от них. Перед ней стоял Саша, обросший, грязный и печальный.

Мрачинский глядел на Софью Александровну снисходительно: ее жалкое тело не стоило его внимания и усилий.

– С вами еще есть кто-нибудь? – спросила Соня, не чувствуя пока своего счастья. – Зовите, Саш, своих товарищей, у меня есть сахар, и вы будете чай пить.

Дванов кликнул с крыльца и вернулся. Пришел Никита и еще один человек – малого роста, худой и с глазами без внимательности в них, хотя он уже на пороге увидел женщину и сразу почувствовал влечение к ней – не ради обладания, а для защиты угнетенной женской слабости. Звали его Степан Копёнкин.

Копёнкин всем поклонился, с напряженным достоинством опустив свою голову, и предложил Соне конфетку-барбариску, которую он возил месяца два в кармане неизвестно для кого.

– Никита, – сказал Копёнкин редко говорящим, угрожающим голосом. – Свари кипятку на кухне, проведи эту операцию с Петрушей. Пошукай у себя меду – ты всякую дрянь грабишь: судить я тебя буду в тылу, гаду такую!

– Откуда вы знаете, что сторожа зовут Петром? – с робостью и удивлением спросила Соня.

Копёнкин привстал от искреннего уважения:

– Я его, товарищ, лично арестовал в имении Бушинского за сопротивление ревнороду при уничтожении отъявленного имущества!

Дванов обратился к испуганной этими людьми Соне:

– Ты знаешь, это кто? Он командир полевых большевиков, он меня спас от убийства вон тем человеком! – Дванов показал на Мрачинского. – Тот человек говорит об анархии, а сам боялся продолжения моей жизни.

Дванов смеялся, он не огорчался на прошлое.

– Такую сволочь я терплю до первого сражения, – заявил Копёнкин про Мрачинского. – Понимаете, Сашу Дванова я застал голым, раненым на одном хуторе, где этот сыч с отрядом кур воровал! Оказывается, они ищут безвластия! Чего? – спрашиваю я. – Анархии, говорят. Ах, чума вас возьми: все будут без власти, а они с винтовками! Сплошь – чушь! У меня было пять человек, а у них тридцать: и то я их взял. Они же подворные воры, а не воины! Оставил в плену его и Никитку, а остальных распустил под честное слово о трудолюбии. Вот погляжу, как он кинется на бандитов, – так ли, как на Сашу, иль потише. Тогда я его сложу и вычту.

Мрачинский чистил щепочкой ногти. Он хранил скромность несправедливо побежденного.

– А где же остальные члены войска товарища Копёнкина? – спросила Соня у Дванова.

– Их Копёнкин отпустил к женам на двое суток, он считает, что военные поражения происходят от потери солдатами жен. Он хочет завести семейные армии.

Никита принес мед в пивной бутылке, а сторож – самовар. Мед пах керосином, но все-таки его съели начисто.

– Механик, сукин сын! – осердился Копёнкин на Никиту. – Мед в бутылку ворует: ты больше его мимо пролил. Не мог корчажку найти!

И вдруг Копёнкин воодушевленно переменялся. Он поднял чашку с чаем и сказал всем:

– Товарищи! Давайте выпьем напоследок, чтобы набраться силы для защиты всех младенцев на земле и в память прекрасной девушки Розы Люксембург! Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей!

– Отлично! – сказал Мрачинский.

– Всех угробим! – поддакнул Никита и перелил стакан в блюдо. – Женщин ранить до смерти недопустимо.

Соня сидела в испуге.

Чай был выпит. Копёнкин перевернул чашку вверх дном и стукнул по ней пальцем. Здесь он заметил Мрачинского и вспомнил, что он ему не нравится.

– Ты иди пока на кухню, друг, а через час лошадей попоишь... Петрушка! – крикнул Копёнкин сторожу. – Покарауль их! Ты тоже ступай туда, – сказал он Никите. – Не хлестай кипятком до дна, он может понадобиться. Что ты, в жаркой стране, что ль?

Никита сразу проглотил воду и перестал жажда. Копёнкин сумрачно задумался. Его международное лицо не выражало сейчас ясного чувства, кроме того, нельзя было представить его происхождения – был ли он из батраков или из профессоров, – черты его личности уже стерлись о революцию. И сразу же взор его заволакивался воодушевлением, он мог бы с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища.

Но воспоминания делали Копёнкина снова неподвижным. Иногда он поглядывал на Соню и еще больше любил Розу Люксембург: у обоих была чернота волос и жалостность в теле; это Копёнкин видел, и его любовь шла дальше по дороге воспоминаний.

Чувства о Розе Люксембург так взволновали Копёнкина, что он опечалился глазами, полными скорбных слез. Он неугомонно шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты.

– Моя любовь теперь сверкает на сабле и в винтовке, но не в бедном сердце! – объявил Копёнкин и обнажил шашку. – Врагов Розы, бедняков и женщин я буду косить, как бурьян!

Пришел Никита с корчажкой молока. Копёнкин махал шашкой.

– У нас дневного довольствия нету, а он летошних мух пугает! – тихо, но недовольно упрекнул Никита. Потом громко доложил: – Товарищ Копёнкин, я тебе на обед жидких харчей принес. Чего бы хошь доставил, да ты опять браниться будешь. Тут мельник барана вчерашний день заколол – дозволяй военную долю забрать! Нам же полагается походная норма.

– Полагается? – спросил Копёнкин. – Тогда возьми военный паек на троих, но свесь на безмене! Больше нормы не бери!

– Тогда контрреволюция будет! – подтвердил Никита со справедливостью в голосе. – Я казенную норму знаю: кость не возьму.

– Не буди население, завтра питание возьмешь, – сказал Копёнкин.

– Завтра, товарищ Копёнкин, они спрячут, – предвидел Никита, но не пошел, так как Копёнкин не любил входить в рассуждения и мог внезапно действовать.

Уже было позднее время. Копёнкин поклонился Соне, желая ей мирного сна, и все четверо перешли спать к Петру на кухню. Пять человек легло в ряд на солому, и скоро лицо Дванова побледнело ото сна; он уткнулся головой в живот Копёнкину и затих, а Копёнкин, спавший с саблей и в полном обмундировании, положил на него руку для защиты.

Выждав время всеобщего сна, Никита встал и осмотрел сначала Копёнкина.

– Ишь, сопит, дьявол! А ведь добрый мужик!

И вышел искать какую-либо курицу на утренний завтрак.

Дванов заметался в беспокойстве – он испугался во сне, что у него останавливается сердце, и сел на полу в пробуждении.

– А где же социализм-то? – вспомнил Дванов и поглядел в тьму комнаты, ища свою вещь; ему представилось, что он его уже нашел, но утратил во сне среди этих чужих людей. В испуге будущего наказания Дванов без шапки и в чулках вышел наружу, увидел опасную, безответную ночь и побежал через деревню в свою даль.

Так он бежал по серой, светающей земле, пока не увидел утро и дым паровоза на степном вокзале. Там стоял поезд перед отправкой по расписанию.

Дванов, не опомнясь, полез через платформу в душившей его толпе. Сзади него оказался усердный человек, тоже хотевший ехать. Он так ломил толпу, что на нем рвалась одежда от трения, но все, кто был впереди него – и Дванов среди них, – нечаянно попали на тормозную площадку товарного вагона. Тот человек вынужден был посадить передних, чтобы попасть самому. Теперь он смеялся от успеха и читал вслух маленький плакат на стене площадки: «Советский транспорт – это путь для паровоза истории».

Читатель вполне согласился с плакатом: он представил себе хороший паровоз со звездой впереди, едущий порожняком по рельсам неизвестно куда; дешевки же возят паровозы сработанные, а не паровозы истории; едущих сейчас плакат не касался.

Дванов закрыл глаза, чтобы отмежеваться от всякого зрелища и бессмысленно пережить дорогу до того, что он потерял или забыл увидеть на прежнем пути.

Через два дня Александр вспомнил, зачем он живет и куда послан. Но в человеке еще живет маленький зритель – он не участвует ни в поступках, ни в страдании – он всегда холодно-кровен и одинаков. Его служба – это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события.

Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел, хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванову, но Двановым не был.

Он существовал как бы мертвым братом человека: в нем все человеческое имелося налицо, но чего-то малого и главного не доставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется – так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара.

Это евнух души человека. Вот чему он был свидетелем.

Первый час Дванов ехал молча. Где есть масса людей, там сейчас же является вождь. Масса посредством вождя боится свои тщетные надежды, а вождь извлекает из массы необходимое. Тормозная площадка вагона, где уместились человек двадцать, признала своим вождем того человека, который втиснул всех на площадку, чтобы влезть на нее самому. Этот вождь ничего не знал, но обо всем сообщал. Поэтому люди ему верили – они хотели достать где-то по пуду муки, и вот им нужно заранее знать, что они достанут, дабы иметь силы мучиться. Вождь говорил, что все непременно муку обменяют: он уже был там, куда люди едут. Он знает эту богатую слободу, где мужики едят кур и пшеничные пышки. Там скоро будет престольный праздник и всех мешочников обязательно угостят.

– В избах тепло, как в бане, – обнадеживал вождь. – Бараньего жиру наешься и лежи себе спи! Когда я там был, я каждое утро выпивал по жбану квашонки, оттого у меня ни одного глиста теперь внутри нету. А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы – ешь до тех пор, пока в скулях судорога не пойдет. А пища уж столбом до самой глотки стоит. Ну, возьмешь сала в ложку, замажешь ее, чтобы она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь. Добро!

Люди слушали вождю в испуге опасной радости.

– Господи, да неужели ж вернется когда старое время? – почти блаженно обратился худой старичок, чувствовавший свое недоедание мучительно и страстно, как женщина погибающего ребенка. – Нет, тому, что было, больше не вековать!.. Ух, выпил бы я сейчас хоть рюмочку – все бы грехи царю простил!

– Что, отец, аль так хочется? – спросил вождь.

– И не говори, милый! Чего я только не пил? Тут тебе и лак, и политура, за деколон большие деньги платил. Все понапрасну: корябает, а души не радуется! А помнишь, бывало, водка – санитарно готовилась, стерва! Прозрачна, чисто воздух божий – ни соринки, ни запаха, как женская слеза. Бутылочка вся аккуратная, ярлык правильный – искусная вещь! Хватишь сотку – сразу тебе кажется и равенство и братство. Была жизнь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.